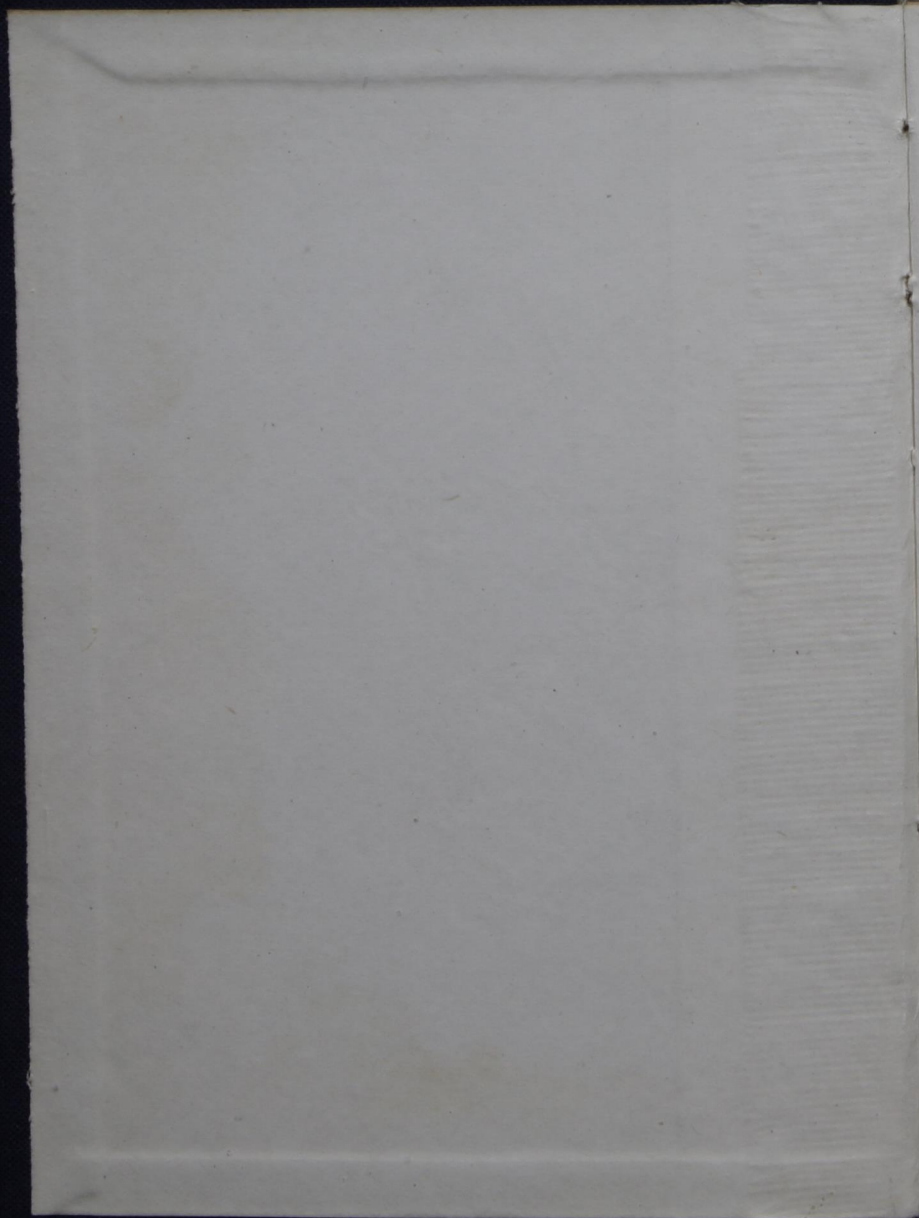
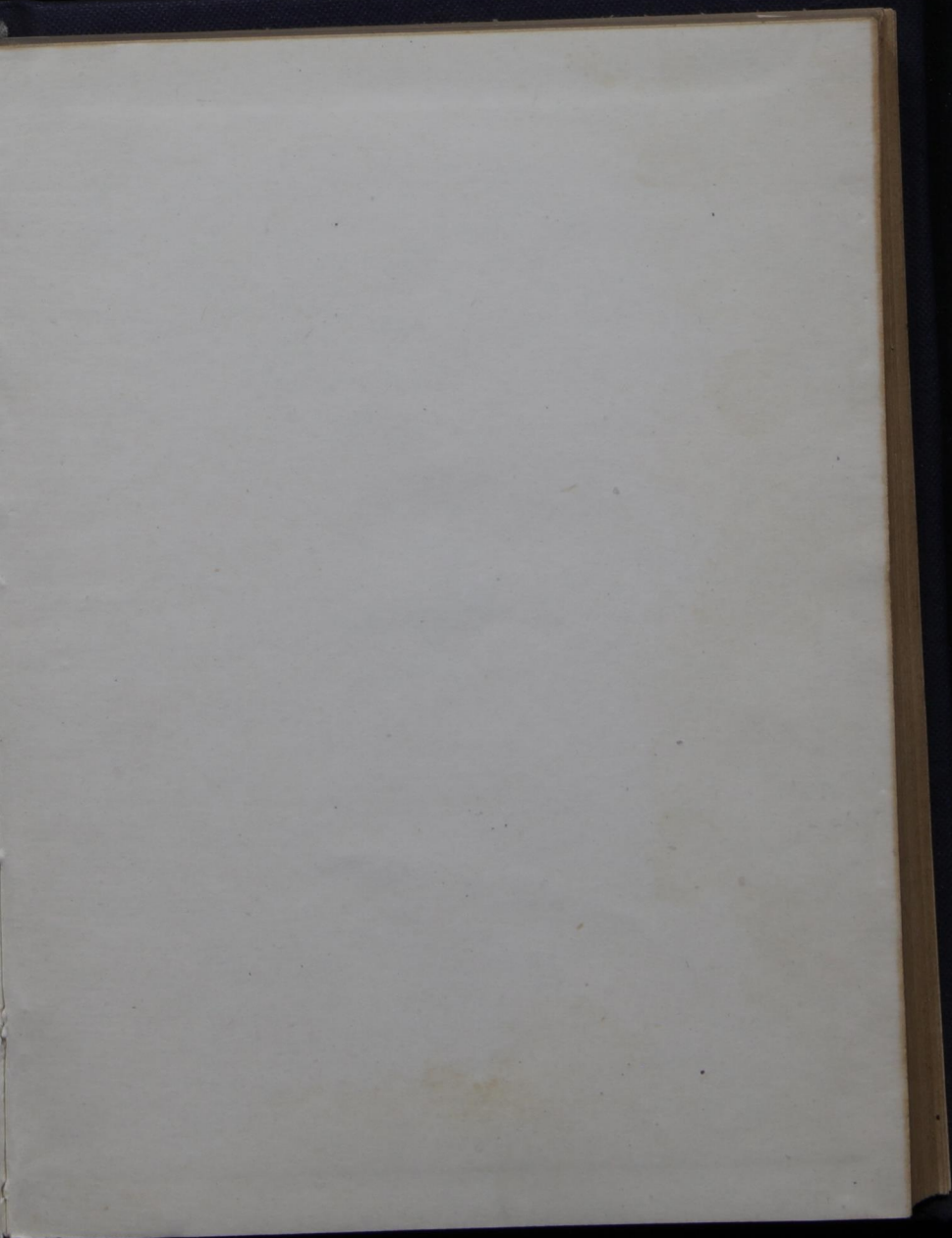
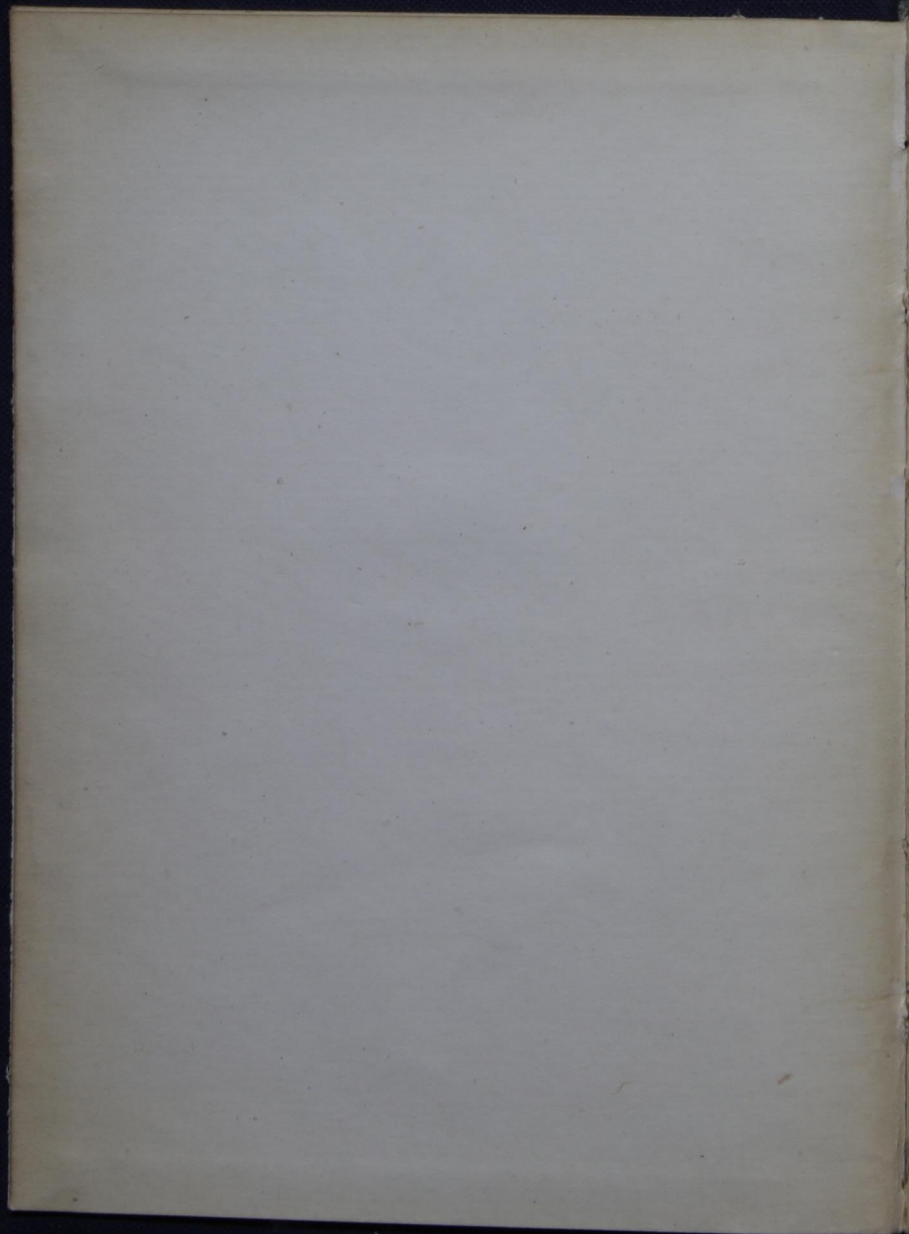










Вып. № 28.

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

КОНРАД ФЕРД. МЕЙЕР

KONRAD FERDINAND MEYER

— 1823 — 1898 —

С В Я Т О Й

П О В Е С Т Ь

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Ф. А. БРАУНА
ПРЕДИСЛОВИЕ
М. ГОРЬКОГО



П Е Т Е Р Б У Р Г

— 1922 —

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

141-13

Р. Ц. Петроград. Печ. 2.500 экз.

26-я Госуд. тип. Измайловский пр., д. 29.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Достоинства правдивой повести Конрада Мейера будут оценены читателем более глубоко, если он познакомится хотя бы в кратком очерке с эпохой, которая создавала столь необузданных людей, каков король Генрих II, и людей такого железного мужества, как архиепископ Фома Бекет.

Начиная с VIII века, современные нам маленькие государства скудного дарами природы Скандинавского полуострова—Швеция, Норвегия—и родственная им Дания разбрасывали избыток своего населения во все стороны мира. Младшие сыновья земельной знати и зажиточных крестьян не могли рассчитывать на наследство отцов и считали унижительным для себя тяжелый труд крестьянина на бесплодной земле. Являясь лишним в своем отечестве, они становились под начальство наиболее знатных, опытных или смелых людей и небольшими отрядами, на легких судах, уходили морем в поиски богатства и воинской славы.

Их вожди назывались конунгами. Это то же слово, что немецкое „кёниг“, английское „кинг“

(король), русское „князь“. Небольшие, но многочисленные дружины морских разбойников или викингов*), гордо именующих себя королями моря, проникли всюду, куда их увлекала воля вождей, куда заносили морские бури. Они грабили и разоряли прибрежное население Балтийского и Северного морей, высаживались на островах Британии, выходили в Атлантический океан, пересекая его, являлись в Америке, открыв ее за 500 лет раньше Колумба, нападали на Францию и, проникая по Западной Двине и Днепру до Черного моря, неожиданно являлись в Константинополе древней Византии. Славяне Новгородской земли прозвали этих людей „варягами“ от скандинавского слова „вэринг“: этим именем называли себя те из пришлых скандинавов, которые поступали на службу к греческому императору или иным местным государям в качестве дружинников. Население Европы прозвало скандинавских выходцев норманнами — северными людьми, от слов: норд — север и ман — человек. Поднимаясь по путям рек внутрь стран, язычники-норманны жгли деревни, разрушали монастыри и, разрушив и разграбив христианскую общину, насмешливо говорили о людях, перебитых ими: „Мы пропели христианам обедню на мечах и копьях“. Они уводили юношей в плен, превращая их в рабов, девушек

*) От этого слова происходит русское слово „витель“.

и женщин—в наложниц; не однажды, конечно, они терпели жестокие поражения, не однажды их поголовно уничтожало озлобленное население прибрежной Европы, жестоко страдавшее от их набегов. Но гибель не пугала их, они верили, что каждый воин, погибший в бою, будет вознесен девой валькирией—служительницей бога войны—на небеса, в чертог бога Одина, и там будет вечно пировать, слушая песни о своих земных подвигах, вечно будет сражаться, нанося и получая раны, но не страдая от них и оставаясь бессмертным. Из всех религий человечества, религия норманнов была наиболее активной,—борьба, подвиги считались норманнами священным смыслом жизни.

Это героическое представление о будущей жизни, как о вечном празднике битв и пиров, вызывало у некоторых из них настроение, близкое к безумию, и эти воины, носившие имя „берсерков“, т. е. „медвежьих шкур“,—потому что они, вместо железных доспехов и лат, шли в бой прикрытые лишь шкурой медведя,—часто бросались в бой против людей, закованных в железо, обнажив грудь, вооруженные только секирой или мечом. Иногда, одержав победу, они, подчиняясь иступлению восторга победителей, бросались в огонь пожара и погибали в нем.

Об одном из таких людей, Рагнаре Лодброке, история рассказывает: „Он правил ладьей, как

добрый ездок послушным конем, он разумел науку рун — древней норманской письменности —, и знал, какие знаки нужно вырезать на клинке меча, чтобы победить, какие на корме судна и на веслах, чтобы избежать крушения в море. Свои первые набеги он направил на балтийское побережье, потом многократно воевал в Британии и Галлии. Тридцать лет он воевал и грабил, пока, наконец, Элла, король английской области Нортумберланда, не победил его. Взятый в плен Рагнар Лодброк был брошен в темницу, наполненную ядовитыми змеями, и, умирая от их укусов, создал — по преданию — „Смертную песнь“, которая считается одним из лучших образцов скандинавской поэзии, — читатель найдет прозаический перевод этой песни в приложении к книге.

Тысячами погибали в морях и на суше эти удивительные люди, но их жизненная энергия была неиссякаема, и на место погибших являлись новые тысячи. Однако, с течением времени они поняли и оценили преимущества мягкого климата, плодородной почвы и общих условий жизни европейского материка и, постепенно соединяя маленькие дружины в крупные армии, превратились из кочующих грабителей в оседлых завоевателей.

Раса завоевателей всегда и всюду являлась земельной и военной аристократией, обращая побежденных в своих рабов, — так в древности

было у нас на Руси, так было всюду, где сильные, смелые, хорошо вооруженные люди овладевали землей и жизнью населения, уже привыкшего к тяготам мирного труда, утомленного им и, до некоторой степени, утратившего способность сопротивления.

Как известно, один из вождей дружины бездомных воинов, норманн Рюрик, явился организатором Новгородского княжества и родоначальником великих князей, царствовавших в Киеве и Москве почти 800 лет, вплоть до избрания боярами на престол Михаила Романова. В то бурное время норманны вообще являлись наиболее удачливыми строителями государственной жизни. Они создали в Европе целый ряд государств, из которых наиболее интересным является королевство Сицилийское, основанное в XI веке искателем приключений норманским бароном Робертом Гвискаротом и отличавшееся в эпоху жестокой религиозной нетерпимости широкою свободою вероисповеданий. В столице Сицилии, Палермо, мечеть магометан-арабов стояла рядом с храмом христиан и синагогой евреев; в совет короля входили на равных правах с христианами представители и других религий, король старался привлекать к своему двору ученых, путешественников, техников и, вообще, это королевство было наиболее культурной организацией XII века, эпохи темной и жестокой.

Еще в X веке норманны прочно осели во Франции по берегу пролива Ла-Манш, отделяющего эту прекрасную страну от островов Англии,—эта земля, включающая маленький полуостров Котантэн, где теперь стоит портовый город Шербург, и до сего дня удержала за собой имя Нормандии.

Немного раньше и одновременно с поселением норманнов во Франции, их одноплеменники с островов Дании вторглись в Англию, уничтожая древнее население этой страны, племена саксов и англов, обращая их в рабов, оттесняя в глубь острова, в болота и горы.

Но сами победители непрерывно должны были отражать набой новых железных воли, нашествие новых и новых дружин скандинавов. По берегам островов Англии каждый год стучали мечи, рассекая кольчуги и шлемы, а внутри страны англо-саксы постепенно, хотя и медленно, развивали скотоводство, кожевенное дело, тканье шерсти,—страна становилась все богаче, все более разжигала зависть норманнов Франции.

В 1035 году во главе их встал герцог Вильгельм, сын герцога Роберта, прозванного за свой неукротимый характер Робертом-Дьяволом. Однажды, по преданию, этот Роберт-Дьявол, увидав на берегу реки девушку, дочь простого кожевника, полоскавшую белье, влюбился в нее, вступил с нею в связь, и через год она

родила ему сына Вильгельма. Когда мальчику исполнилось семь лет, его отец отправился,— как это было в обычае тогда,—пешком в Иерусалим замаливать свои грехи. Бароны, вчерашние крестьяне, подвластные ему, пытались удержать его, указывая, как худо будет им без предводителя, без силы, которая сдерживала бы их честолюбие, постоянно возбуждавшее междоусобные, кровавые столкновения между ними. „Я не оставлю вас без господина,—сказал им Роберт.—У меня есть мальчишка с левой руки, я точно знаю, что это мой сын. Если он, Бог даст, вырастет и станет разумным человеком, — возьмите его господином себе, а я теперь же отдаю всю Нормандию в его владение.“

Бароны, понимая, как необходима для них власть, хотя бы она воплощалась в беззащитном ребенке, дали маленькому Вильгельму клятву верности. Роберт-Дьявол умер на обратном пути из Иерусалима в 1035 г., а его „мальчишка с левой руки“, воспитанный баронами, вырос человеком крайне честолюбивым, жестоким и мстительным. Однажды он напал на французский город Алансон; осажденные французы, стоя на стенах города и желая посмеяться над незнатным происхождением матери Вильгельма, показывали ему шкуры животных и кричали:

— Кожа, кожа! Кожаный герцог!

Вильгельм приказал отрубить руки и ноги всем пленным алансонцам и перебросить окровавленные члены в осажденный город.

Он часто переправлялся через пролив в Англию на помощь англо-саксонскому королю Эдуарду в его борьбе с викингами-датчанами, видел там тучные луга и пастбища, многочисленные стада скота, густые леса, обильные зверями и дичью, видел, что там тоже не мало норманнов, и у него явилось желание завоевать эту богатую страну. Он долго лелеял это смелое, честолюбивое намерение и, наконец, получив от Эдуарда, в награду за оказанную помощь, право на английскую корону, после смерти его, собрав несколько тысяч воинов, закованных в железо, вооруженных длинными копьями и обоюдоострыми мечами, высадился 28 сентября 1066 г. на берег Англии близ города Гастингса. Англо-саксы вышли против этой небольшой, но страшной по тем временам, армии с топорами в руках,—все это были уже люди, привыкшие к мирному труду: пастухи, плотники, кожевники, шерстобиты. Они дрались мужественно, но были разбиты, их король и двое его братьев погибли в бою,—норманские бароны одним ударом кончили дело и стали владыками земли и жизни англо-саксов. Они тотчас же объехали все пространство, завоеванное ими, составили точные описи частной и общественной собственности побежденных, привели в извест-

ность имена всех англичан, которые погибли в бою, всех пленных, переживших свое поражение, и даже тех, которые не выступали против норманнов с оружием в руках. Все имущество этих трех разрядов людей — земля, лес, скот, движимость, — все было захвачено победителями; дети убитых были навсегда лишены права наследования; второй разряд тоже был ограблен, и даже люди не принимавшие участия в битве были объявлены лишенными собственности.

Был ограблен весь народ поголовно, и, разумеется, англо-саксы делали несколько попыток свергнуть гнет завоевателей, но эти вспышки гнева заливались потоками их крови. Положение саксов было ужасно. Вот как рисует его саксонский летописец, писавший свою суровую повесть в 1197 г.

„Жестоко обременяли бедный народ этой земли постройкою замков; а когда замки были выстроены, они поместили там дьявольских и злых людей.

Тогда стали хватать тех, у кого предполагали какие-нибудь достатки — ночью и днем, мужчин и женщин, — и терзали их, золота и серебра ради, несказанными мучениями, каких не случилось никогда терпеть самим мученикам.

Одних вешали за ноги и коптили в густом дыму, других вешали за большие пальцы или за головы и жгли в то же время их ноги огнем;

иным затягивали петли вокруг головы, так что веревка, сдавив череп, доходила до мозга; иных ввергали в темницы, полные змей и других гадов, и таким образом истязали; иных ввергали в круцеты, то-есть, в короткие узкие и низкие сундуки, наполненные острыми камнями, и давили до перелома костей.

Во многих замках были ужасные и ненавидимы: снаряды, которые два или три человека едва могли надеть; этот снаряд был устроен таким образом, что узник прикреплялся к бревну, и острая железная цепь охватывала горло и шею узника, так что он не мог ни сидеть, ни лежать, ни спать, и его давило постоянно это железо.

Многие тысячи людей погибли от голода, и нет возможности исчислить все раны и все бедствия, которыми удручали они бедное народонаселение этой земли, и это продолжалось 19 лет, так что каждый день становилось тяжелее. Они очень часто налагали на города новые дани, а когда бедняки до того обнищали, что нечем им было платить, тогда они грабили и сжигали города.

Путешественник мог целый день ехать, не встречая на пути ни одного города населенного, ни одного участка обработанной земли.

Вздорожал хлеб, вздорожало мясо, сыр и молоко, потому что не стало их совсем в стране.

Бедные гибли от голода; многие, которые некогда были богаты, ходили по миру, питаясь подаянием; многие выселились из земли. Никогда еще до тех пор земля эта не была в столь бедственном состоянии, никогда язычники не причиняли такого зла. Они не щадили ни церквей ни кладбищ, но и в этих местах грабили все драгоценности, а потом сожигали церкви со всеми вещами, которые в них еще оставались.

Они не попустили владениям епископов, аббатов, священников, но обдирали и монахов и духовных, и кого только могли. Как только два или три всадника приближались к какому-нибудь городу, все горожане тотчас разбегались, полагая, что они разбойники. Епископы и духовенство всегда их проклинали, но тщетно, потому что все они были люди окаянные, безбожные и погибшие. Труд был напрасен, земля опустошенная вследствие этих событий, не приносила никаких плодов. Говорили, что Христос уснул вместе с своими святыми. Тому подобное и многое, чего не можем передать, терпели мы в продолжение 19-ти лет за наши грехи“.

Огюстен Тьерри, француз-историк, написавший прекрасную книгу о завоевании Англии норманнами, рассказывает такой случай, определенно рисующий отношения победителей к побежденным:

„Однажды, в царствование Вильгельма Рыжего, сына Вильгельма Завоевателя, 50 саксов,

сохранивших — по счастливому случаю или за политическую подлость — некоторые остатки своего благосостояния, были обвинены в том, что охотились в королевских лесах. Обвиненные решительно отрицали свою вину; тогда норманские судьи решили испытать их невинность пыткой раскаленным железом, — хотя по древнему англо-саксонскому закону эта пытка применялась только по согласию обвиняемых. Очевидец пытки говорит: „Горько было смотреть на это дело, но Бог доказал невинность гонимых и злобу гонителей. Когда же королю Гильому донесли, что тело пытаемых осталось невредимым после пытки, он сказал: — Чтож из того? Бог не судья в этом деле, я сам рассужу“.

Вот в какую эпоху, среди каких людей разыгралась драма короля Генриха II, правнука Вильгельма Завоевателя и архиепископа Фомы Бекета, сакса по крови. Автор искусной повести, предлагаемой читателю, почти не погрешил против исторической правды, что не часто встречается у сочинителей исторических романов и повестей.

В повести Конрада Мейера сомнительны только рассказы арбалетчика о связи короля с дочерью Бекета и о попытке Ричарда Львиное Сердце примирить короля и „святого“ хотя это неудавшееся примирение — факт исторический, но неизвестно, какую роль играл в нем Ричард. В приложениях к повести чита-

тель найдет народную балладу об отце Фомы Бекета, описания светской жизни самого Фомы, письмо короля Генриха к папе римскому об убийстве архиепископа и другие документы, которые придают повести Мейера интерес подлинной истории. Могущество норманнов в Англии было велико, но англо-саксы умели сопротивляться и, по мере того, как растущая власть королей раздражала страсти баронов, саксы постепенно все выше поднимали голову. Скоро норманнам стало ясно, что без помощи саксонского городского населения им не ограничить власть королей.

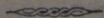
Фома Бекет был убит в 1170 году, но уже в 1215 король Иоанн, сын Генриха, вынужден был дать баронам и горожанам „Великую Хартию“, акт, который остался до сего дня основанием прав английского народа, коренным законом государственного строя Англии, источником ее парламентаризма. „Великая Хартия“ установила свободу выборов на церковные должности, поставила торговлю городов под охрану закона, расширила городское самоуправление, улучшила порядок судопроизводства и всем этим она соединила древние англо-саксонские права личности с феодальными учреждениями норманнского государства. Таким образом, резкая противоположность между массой туземного населения и потомками гордых завоевателей была в значительной мере уstra-

нена, и обе группы населения, благодаря этому акту, сливаются в единую нацию—английскую.

Само собою разумеется, что это событие, сильно ограничивая власть короля, облегчало только положение дворянства и горожан, почти не касаясь крестьянской массы, но всетаки это был первый в Европе широкий шаг вперед к организации народного представительства и правового государства.

Так, путем труда и неустанной борьбы, люди воплощают свою волю в жизнь, и постепенно разумная воля людей становится единственным законодателем мира, единственной силой, которая способна объединить все раздробленное и враждующее в гармоничное и великое целое.

М. Горький.



Для выяснения исторических фактов, на которых построена повесть, приводим несколько справок.

Центральная фигура повести, король Англии Генрих II, был сыном француза, графа Готфрида Анжуйского, из рода Плантагенет, и его жены Матильды—внучки Вильгельма Завоевателя. Родился он 5 марта 1133 года. От отца он унаследовал довольно обширные владения во

Франции, от матери—герцогство Нормандию и право на английский престол, который он и занял в 1154 году. Его французские владения значительно расширились еще, благодаря его женитьбе (в 1152 году) на Элленоре, графине Пуату, разведенной жене французского короля Людовика VII (1137—1180), вполне заслужившей резкую характеристику, которую дал ей Мейер в повести. Элленора была старше своего царственного супруга на 11 лет. Брак их был очень несчастлив, но он сделал Генриха обладателем почти третьей части всей Франции. 35 лет продолжалось его бурное царствование, полное борьбы и тревог, побед и поражений. Особенно тяжел был для него конфликт с Фомой Бекетом, его любимым канцлером, возведенным в сан архиепископа Кентерберийского и поставленным им во главе всего английского духовенства в надежде на его помощь в борьбе с притязаниями римского папы. А последние годы жизни Генриха были омрачены восстанием против него родных сыновей. Умер он 6 июля 1189 года.

От его брака с Элленорой осталось 4 сына, которые все появляются в нашей повести, хотя только мельком. Старший из них, Генрих, умер уже в 1183 году. Рано скончался и второй, Готфрид, не сыгравший никакой роли в истории. Третий же сын, Ричард, прозванный за неукротимый нрав и беспримерную личную хра-

бросьть Львиным Сердцем, унаследовал после отца английский престол и занимал его в течение 10 лет (1189—1199). Наконец, младший сын Иоанн (принц Ганс в повести), по прозвищу Безземельный, занимал престол после Ричарда с 1199 по 1216 год. Его царствование было одним из самых бесславных для Англии: оно принесло этой стране ряд глубоких унижений, но с именем Иоанна связано издание (в 1215 г.) „великой хартии вольностей“ (см. выше стр. 17).

Второе по значению из действующих лиц повести — Фома Бекет — был лет на 14 старше своего повелителя: он родился в Лондоне около 1119 года и много лет был ближайшим советником и канцлером короля Генриха. В 1162 г. он был возведен в сан архиепископа Кентерберийского при условиях, по существу точно переданных в повести. 29 декабря 1170 года он был убит по почину короля и уже в 1172 г. причислен к лику святых. До введения в Англии протестантизма он почитался здесь как бы национальным святым, и его мощи привлекали в Кентерберии ежегодно многочисленных богомольцев со всех концов Англии.

Отметим, наконец, еще одно историческое лицо, выведенное Мейером в повести: Бертрана де-Бори, рыцаря-поэта (трубадура) из Прованса (Южной Франции). До нас дошло свыше 40 пе-

сен этого певца, славившегося среди современников воинственностью своей поэзии. Он был связан узами личной дружбы как с принцем Генрихом, так и с Ричардом Львиное Сердце и считался главным виновником восстания этих принцев против отца. Он умер около 1215 года.

Читатель найдет в приложении к нашему изданию перевод двух его песен. Как сеятеля раздора между отцом и сыновьями, великий итальянский поэт Данте выводит его в начале XIII века в своей поэме „Божественная комедия“ среди грешников, караемых в вечных муках ада. В конце 28 песни „Ада“ он так описывает появление Бертрана:

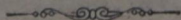
Из сумрака явился дух безглавый,
И голову он, как фонарь кровавый,
Держал в руке. Чуть слышный стон: „Увы“
Сорвался с уст кровавой головы.
Она ему светильником служила,
Себе собой светил несчастный дух.
И два в одном, один терзался в двух,
Как высшая повелевала сила.
Приблизившись к подножию моста,
Он голову приподнял над собою,
И скорбные промолвили уста:
— „Кому страшней назначена судьбою
Казнь за грехи? Тень рыцаря-певца
Ты видишь ныне, тень Бертран де-Борна,
Советам чьим король внимал покорно.
Разжег в отце и сыне я сердца...“

... Я запятнал себя позорным делом,
И вот за то, что близких разлучил,
Находится мой мозг в разлуке с телом.
Меня закон возмездья поразил."

(Перевод О. Н. Чюминой).

В одном из своих ученых трактатов тот же
Данте называет Бертраана лучшим певцом войны.

Ред.



СВЯТОЙ.

Повесть.

Снег медленно падал, покрывая равнины полей и крыши крестьянских дворов, раскиданных по обеим сторонам большой дороги, соединяющей целебные источники возле Лиммата с имперским городом Цюрихом. Все гуще и гуще летели хлопья, как будто желая побороть бледный утренний свет и погрузить мир в тишину. Все пути и дороги и те немногие живые души, которые по ним двигались, были занесены снегом.

Но вот раздался глухой стук лошадиных копыт по деревянному настилу крытого моста, переброшенного неподалеку от Цюриха через воды Силь. Под стропилами, в мрачном отверстии моста, обращенном к городским стенам, показался одинокий всадник. Его коренастая фигура была плотно закутана в грубый шерстяной плащ, а на лицо низко надвинут капюшон, так что разглядеть можно было одну лишь окладистую седую бороду. Следом за его крепкой кобылой местной породы трусил рослый пудель; спина его была запушена снегом и хвост уныло опущен. Стук

копыт, глухим эхом отдававшийся под деревянными сводами, вывел всех трех путников из дремоты, навеянной холодом и снегом; он напомнил им о близости городских ворот и пробудил ожидание крова; быстрой рысью они доехали до ворот. Здесь, под низкими сводами, всадник откинул капюшон, стряхнул с плаща хлопья снега и сдвинул с энергичного лба меховую шапку. Не взвзвывая на бремя своих лет, он с хорошей военной выправкой поскакал дальше через Реннвег, по первой дороге, тянущейся у подножья императорского замка.

То было за три дня до окончания 1191 года благодати; путник имел обыкновение наведываться в Цюрих в промежуток между Рождеством и Новым Годом. Как и всегда при в'езде в этот город, появление его было встречено громкими приветствиями. Справа, там, где булочник отпускал свои свежие хлебные караваи, и слева, где из-под закопченного навеса кузнеца раздавался стук молота по наковальне и летели искры, слышалось: «Ганс-Арбалетчик, Ганс-Англичанин!» Впрочем, немецкие звуки в ответных приветствиях всадника раздавались так плавно и свободно, что второе его прозвище едва ли могло объясняться далеким чужеземным происхождением, а указывало скорее на страсть к путешествиям и на смелые странствования в прошлом. Хозяин харчевни «Льва», при раздавшемся сту-

ке копыт, выглянул в дверь; узнав приезжего всадника, он снял свой колпак и обратился к нему за справкой о Шафгаузенском vine нынешнего урожая; всадник дал ответ столь обстоятельный, обнаруживающий человека, близко стоящего к делу, что не трудно было догадаться, откуда он рсдом.

До сих пор все в этом городе княгини-аббатиссы *), знакомом Гансу-Арбалетчику уже не одно десятилетие, имело обычный вид; одно лишь обстоятельство показалось приезжему странным в сегодняшний будний день и, мало-по-малу, стало вызывать его удивление. Обыкновенно, в это суровое время года и ранний час, женщины редко попадают на улице; сегодня же их можно было видеть всюду, выходящих из домов—нарядных и куда-то спешащих. Мастер Ганс свернул по ведущему круто с горы переулку к центру города, в направлении быстро несущего туда свои воды Лиммата. Когда он миновал нижний мост и ратушу, глазам его представилось зрелище: по обоим берегам реки, вверх по ее течению, двигались словно полчища муравьев. Одна кучка следова-

*) Цюрих принадлежал в средние века к германской империи. Знаменитый женский монастырь в нем был основан императором Людовиком Благочестивым в 853 году, и первой настоятельницей (аббатиссой) его была дочь императора Гильдегарда. Впоследствии аббатисса этого монастыря (как настоятели некоторых других монастырей империи) пользовалась всеми правами имперских князей и была подчинена только одному императору.

ла за другой. Женщины всех сословий: высокомерные дворянки с драгоценными молитвенниками в руках, почтенные женщины ремесленного сословия, стыдливые монахини, красивые девушки легкого поведения,—все они шли вперемежку с морщинистыми кашляющими старушками, накинувшими поднятые вверх юбки на бедные седые головы, чтобы защититься от вьюги,—весь этот людской поток устремлялся к тому месту озера, где при истоках Лиммата возвышаются, словно увенчанные шлемами, два собора.

Но что бы это значило? Настойчивый призывной благовест доносился только с собора Пресвятой Девы Марии; другой же большой собор, стоящий напротив, пребывал в неодобрительном молчании.

В раздумьи ехал Ганс-Арбалетчик, следуя общему людскому потоку, под арками, вдоль по течению Лиммата, направляясь к знаменитой гостинице «Ворон Святого Мейнрада», куда он ездил из года в год. Сегодня же он остановил своего пегого внизу у холма, где некогда пролилась кровь святых Феликса и Регулы. Он бросил взгляд на крутой церковный переулок, ведущий сюда от большого собора. Там двигалась ему навстречу, тщательно выискивая в талом снегу наиболее удобные места, благородная почтенная фигура каноника, закутанного в кунью шубу. Бледное лицо, сыгладывавшее из-под чер-

ного берета, со страдальческим выражением смотрело на промокшие башмаки. Поэтому, каноник не сразу заметил арбалетчика, когда тот ловко спрыгнул с коня и скромно, с непокрытой, несмотря на продолжающуюся выюгу, головой, стал поджидать старика.

— Да будет над вами милость Господня и Его Пречистой Матери, господин мой,—произнес Ганс-Англичанин, когда старик с ним поровнялся.

Последний, слегка озадаченный, остановил свой умный взгляд на приветствующем его, и внезапная мысль засветилась на его прозрачном лице,—мысль, очевидно, радостного свойства, которую он, тем не менее, с тонким умыслом сохранил про себя.

Итак, арбалетчик первый обратился к нему со следующими словами:

— Разрешите осведомиться у вас, застану ли я в монастыре благородного господина Куно, вашего достоуважаемого брата? Он должен мне безделицу за исправленные арбалеты (луки), да, сверх того, еще за один заказанный и изготовленный для него на английский лад три года тому назад; я бы желал, по своему обыкновению, получить все, что мне причитается, еще до наступления Нового Года. На прошлых и позапрошлых святках я каждый раз заставлял благородного рыцаря при пустом кошельке, так как

его упорно преследовала неудача при игре в кости. Нельзя ли узнать, как нынче обстоят его дела?

— Об этом ты расспросишь его сам после того, как закусишь у меня,—отвечал старик.—Он вернется к ночи обратно в монастырь. Вся наша братия, пробст с капитулом, отправились верхом на охоту, за исключением, как видишь, меня, сгарика. Мне хотелось моим сегодняшним выходом почтить нового святого, о страстях и чудесах ксторого вот в этот самый час там повествует верующему народу некий умник из Люцернских пспов.

Он указал при этом на стройно возвышавшийся собор Богоматери.

— Его речи изгнали на сегодня из города мою братию, слишком ревнивую к славе святого. Но так как шагами моими руководило скорее любопытство, чем набожность, а снег небесный их к тому же чрезмерно затрудняет, то я без ущерба для своей души думаю повернуть обратно. Вели отвести своего пегого к «Ворону». Вон там, у реки, стоит, как вкопанный, конюх из Святого Мейнрада и глазееет на собор Богоматери. Твой пес, что так понуро сидит там в снегу, может отогреться у моего кухонного очага. Но, клянусь окровавленной главой святого Феликса, я не могу больше стоять в мокроте. В этих снежных лужах притаилась коварная

ведьма со щипцами, я хочу сказать злая подагра, терзавшая меня всю зиму и только недавно выпустившая из своих когтей. Приходи за мной вслед, Англичанин!

При этих крылатых словах господин Буркхард зыбким движением закутался в свою шубу и стал с прежней осторожностью вновь подниматься по мокрому переулку. Ганс позвал зазевавшегося слугу и, вместе с поводьями своей кобылы, дал ему всякие поручения и указания для передачи хозяину и завсегдатаям «Ворона». Тут да часто заходили дворяне, среди которых у арбалетчика было не мало заказчиков и должников.

Затем он отцепил от седла свою дорожную суму, взял ее под мышку и направился вместе с Таппом, ни на шаг не отходившим от имущества своего господина, вверх по крутому переулку, всдущему в монастырь.

Приглашение каноника пришлось Гансу-Арбалетчику кстати, ибо он был человеком расчетливым.

II.

Зимний день был так темен, что узкая комната каноника, в которой он угощал евоего гостя, освещалась более мерцающим пламенем очага, нежели светом, проникающим через высоко расположенное подукруглое оконце. В то время, как

арбалетчик кончал еще свой ужин, господин Буркхард, человек хрупкого сложения и умеренного образа жизни, уже несколько времени, как сидел в кресле, покрытом мягкой овечьей шкурой, протянув к огню ноги, укутанные в меха. Седовласый, как и он, эконо́м, убрал посуду и поставил на каменный выступ камина кувшин крепкого местного вина вместе с двумя серебряными кубками.

Каноник был явно в приятном расположении духа. Его крайне радовало, что ему удалось в этот угрюмый зимний день завлечь под свой кров человека, так близко знавшего свет и людей, так много постраниствовавшего и обладающего подвижным умом, человека, который мог удовлетворить давно томившее его любопытство. Тонко вылепленная голова каноника, с ее редкими, белыми, как снег, прядями волос, покоилась на красной подушке спинки; глаза его были закрыты, но в выражении лица чувствовалась живая радость по поводу удавшегося замысла.

Внезапно он открыл свои блестящие глаза и сказал:

— Да благословит Господь твою трапезу, Ганс! Поверни свой стул и пододвинься ко мне. Ты спрашивал меня, кто этот новый святой, прославляемый в Соборе Богоматери, нами же, канониками, поносимый. За едой я не считаю уместным говорить о церковных, тем паче о небесных

делах; но теперь я к твоим услугам и готов дать тебе ответ. Новый наш заступник перед Господом, которым нас наградила святой отец всех верующих христиан, увидел свет в один год со мной. Уже это одно говорит против него. О святых можно сказать то же, что и о вине: чем больше оно насчитывает лет, тем оно лучше и чудодейственнее! Вот как это вино,—и он отхлебнул из своего кубка,—кровь нашей родной земли, кровь от нашей крови—наша услада и сила с незапамятных времен,—так и святые Феликс и Регула, над прахом которых воздвигнуты этот монастырь и город. Поколение за поколением служили они нам бесстрашными защитниками, в бедах мы сроднились с ними и многим друг другу обязаны. Их именем и печатью мы, по примеру отцов, скрепляем все наши дела. Я не хочу быть заносчивым и похвалиться тем, что они, как это достоверно известно, прияв кровавые муки, несли свои отсеченные главы от места казни к берегу Лиммата и до сего места, сорок шагов ходьбы в гору, а ведь уж, наверное, никому из слабосильных нынешних святых за ними не угнаться! Для меня имеет значение уж одно то, что святые Феликс и Регула кровью постояли за свою веру перед лицом языческого государя, а не возносились духом и не восставали на христианского короля и своего ленного господина, как этот новоявленный святой моего возраста.

Но уму наших сестер из того монастыря недоступны все эти справедливые соображения! К тому же, надо было случиться, чтоб им в руки попал, вместе с другими драгоценными рукописями, пергаментный свиток, в котором описывается житие и страсти моего ровесника. Священная рукопись была прочитана с назидательной целью вслух за трапезой,—и с той поры мысли этих благородных дам не знали больше покоя. Они тайно и явно стали добиваться того, чтобы день этого мученика стал торжественно праздноваться и у нас.

Женщинам нравится все новое и чужестранное. Наш городской совет был, по упомянутым основаниям, противником этого дела и, наверное, воспрепятствовал бы намерению женщин, если бы на помощь им не явилась милость небесная.

Прошлой осенью, во время продолжительной засухи, в аббатстве загорелся сарай, наполненный сеном, рядом с их большой усадьбой в Видиконе *). Южный ветер погнал огонь прямо на их мызу, начавшую уже дымиться; казалось, ее нельзя было спасти. Тогда зело набожная управительница, фрау Берта, присутствовавшая при этом, велела мызнику и его сыновьям вытащить из дома стол с тяжелой аспидной доской, вынула из кармана кусок мела и написала на доске ар-

*) Местечко на Цюрихском озере, близ города.

цинными буквами: «Святой Фома, помоги нам». Что же произошло? Не взглянул ли святой с небес и не прочел ли написанное? Как бы там ни было, а ветер сразу переменялся, догоравший сарайчик рухнул, и мыза была спасена. К этому времени подоспела помощь из города. Здесь вот стоял стол, там—обугливавшаяся развалина. Где уж тут было придирааться к святому и его чуду. Так-то случилось, что мы сегодня справляем его праздник, день,—чтобы мне не забыть этого сказать тебе,—святого Фомы Кентерберийского.

После этой обстоятельной речи, каноник отпил из своего кубка два маленьких глотка и, взяв в руку кувшин, обернулся к своему слушателю, желая наполнить его кубок. Ганс, сидевший на деревянной скамье у огня, не произнес ни звука. С ним произошло что-то странное: вначале он следил внимательно за рассказом каноника, опершись локтями на колени и поддерживая руками опущенную голову. Господин Буркхард намеренно умолчал до самого конца об имени святого, но арбалетчик, повидимому, уже ранее того угадал, о ком идет речь; он сидел теперь неподвижно, словно подавленный внутренним гнетом, и трепет ужаса, казалось, пробежал по его телу. Каноник нацедил ему полный кубок и наблюдал за ним участливым взглядом, в котором, однако, просвечивало некоторое злорадство.

— Наконец-то, я поймал тебя, хитрец,— начал он снова.— Клянусь окровавленными косами святой Регулы, сегодня я не выпущу тебя, арбалетчик, за порог моего дома раньше, чем ты мне не расскажешь про святого Фому Кентерберийского все, что знаешь, и, надеюсь, совсем не те вещи, в которых старается заверить тот люцернский поп, нашу милостивую госпожу там, напротив, в монастыре, и не те, что значатся в пергаменте, присланном мне благородной дамой во спасение моей души. Ты встречался со святым при его жизни, этого ты не будешь отрицать. Я сам слышал, как ты рассказывал моим братьям каноникам с год, пожалуй, тому назад в нашей трапезной, громко и с решительными движениями, — ведь они тебя сильно попотчевали,— что ты был связан с королем Генрихом, как пуговица с камзолом, а то и как кожа с телом. Ты пришел в сильное возбуждение, когда твои собеседники усомнились, чтобы король Генрих проливал при злополучном короновании своего старшего сына радостные слезы. Ты воскликнул: «Я сам видел, как они текли!» И поклялся в том спасении своей души. Я в это время как раз зашел в комнату, чтобы выпить в компании кубок вина,—я ведь был тогда помоложе, и услышал, как ты подтверждал свои слова. Я в них не стал сомневаться, ибо ты не хвастун. Но если ты вправду постоянно находился при короле Генрихе, прислуживал ему и за

столом, и в спальне, был свидетелем его слез и смеха, то ты должен был ближе знать и человека, сгубившего его тело и душу,—знать, тогда ли, когда он служил ему в качестве канцлера, или же, когда он, в сане святого епископа—враг и жертва короля—довел последнего до отчаяния и гибели. Пожалуй, и ты, несчастный, был среди тех, кто способствовал мученической смерти святого? Впрочем, нет: убийцы святого, как говорится в пергаменте аббатиссы, до такой степени лишились человеческого облика, что все живое от них отшатывалось, и даже их собственные собаки брезгали кормом из их рук. А твой Тапп, — он указал на пуделя, просунувшего свою внимательную голову между коленами арбалетчика,—берет, как я вижу, все, чего ты ему ни дашь.

— Милость Господня уберегла меня от этого,—пробормотал Ганс,—что же до святого, то, правда, он был мне знаком не хуже вас, господин Буркхард, и если уж вам хочется знать, то я присутствовал даже при том, как Вильгельм Траси раскроил ему череп перед самым алтарем. Я, как сейчас, вижу перед собою улыбку,—да будет надо мною милость Господня,—с которой он принял смерть, эту святую улыбку, в которой чуялась насмешка, как будто его палачи оказали ему великую услугу. О, господин мой, это тяжкие, неисповедимые дела.

— Расскажи, Ганс!—воскликнул каноник, весь дрожа от нетерпения, и с жадным любопытством приподнялся в кресле, опершись об его ручки своими старыми руками.

Арбалетчик молчаливо мешал в очаге кочергой, чтобы дать огню лучше разгореться, и собирался с мыслями. Его жесткие угловатые черты омрачились, его сверкающие глаза были полны раздумья. Он, очевидно, находил нужным исполнить желание своего гостеприимного хозяина, но делал это неохотно, ибо те поразительные события, непонятные не только для людей, далеко от них стоящих, но и для тех, кто принимал в них участие, составляли существенную часть его собственной истории, они затрагивали самые глубины его души, где чувства его двоились, а мысли замирали, словно над пропастью; такому замкнутому человеку, как он, тяжело было обо всем этом рассказывать.

Арбалетчик начал осторожными словами:

— Вам, господин Буркхард, наверное, легче моего разобраться в государственных и военных делах моего короля, но что до его нрава и образа жизни,—а также человеческого облика Томаса Бекета,—прибавил он тихо и с робостью,—то я, действительно, не прихвастнул в ту хмельную ночь год назад, когда похвалялся тем, что знал их обоих,—хотя лучше было бы для

меня умолчать об этом. И теперь еще, господин мой, стоит мне закрыть глаза, чтобы оба, и король и епископ, встали передо мною, как живые. Но вид их не столь любезен сердцу, как вид этих худошавых, спокойных лиц, несомых на руках обезглавленными святыми вашего города,—и он указал на срединные фигуры цветного, тканного ковра, покрывавшего стену.— Много лет подряд, после моего возвращения из Англии, образы этих обоих несчастных людей преследовали меня в мыслях на яву и ночью во сне. Днем я беспрерывно повторял мягкие остроумные речи одного, легкомысленные шутки, суровые угрозы и гневные, полные отчаяния, речи другого, и я не в силах был отделаться от мыслей о том, как неотвратно из всего этого выросла гибель их обоих. По ночам, во сне, я видел, как они налетали друг на друга «в огне и дыме», как говорится у апостола Иоанна в его откровении, и ни одна из моих жен,—я имел и схоронил их несколько,—не могла удержаться, чтобы не разбудить меня,—такой их охватывал страх и ужас... Ибо, господин мой, когда короли и святые воюют друг с другом, это совсем не то, что драки и свалки в наших швабских харчевнях! Пусть будет по вашему, я поведаю вам все, как было, хотя это дело тяжелое и с ним не так-то просто справиться. Но я не могу не исполнить желания моего гостеприимного хо-

зяина,—докончил арбалетчик свою речь с угрюмой усмешкой.

— Сдержи же свое обещание,—сказал каноник и с лицом, полным ожидания, откинулся назад на спинку кресла.

III

«Я неохотно повествую о своей молодости,—начал Ганс-Англичанин свой рассказ,—и в мыслях своих сторонюсь ее, разве что в кануны святых праздников, когда я смиренно повергаюсь ниц перед Господом и Его Пречистой Матерью, я вызываю из мрака минувшие дни; или когда случится, что какой-нибудь завистник или недруг попрекнет меня ею теперь, в дни моей старости.

Господин мой,—и при этом арбалетчик глубоко вздохнул,—молодость моя была запятнанной и нечестной, тем не менее, я должен обременить вас повествованием о ней, ибо мой скромный жизненный путь неотделим от судеб святого и короля,—по крайней мере, в моей старой голове. Вам надлежит знать, что я благородного происхождения;—когда вам приходят на память имена Гогенклинген или Гогенкрен, то вы при этом не называете, правда, имени моих предков, род которых давно пришел в упадок и затерялся, но все же те и другие имена звучат сходно, и владе-

ния моих предков, как и тех, более устойчивых родов, находились неподалеку от Бодана *) и Рейна. Уже отец мой был кругом в долгах, и родня, Бог ведает, по какой причине, сторонилась и избегала его. И вот он, чтобы скрыться от своих заимодавцев, а также во спасение своей души, отметил себя знаком креста и отправился в Святую Землю, откуда больше не возвращался. Матушка со времени моего рождения постоянно прихварывала, к тому же она выплакала себе все глаза, когда был убит мой старший брат, да еще не в рыцарском поединке, а в жестокой драке при дележе добычи, ибо мы поддерживали себя, как могли, подстерегая прохожих по дорогам. К родне я не обращался ни за советом, ни за поддержкой,—я не нашел бы там ни того, ни другого. Моими единственными друзьями были арбалет и собаки, с которыми я выезжал в лес; но сам-то я напоминал дичь, преследуемую злым врагом, ненавистным нам, как дьявол. Это был жид Манассия из Шафгаузена, отдававший деньги в рост. Мой отец заложил у него свой замок и немногочисленные земли. Случилось так, что моя мать послала меня к жидам просить отсрочки, но тщетно было бы искать милосердия у ростовщика. Тут сердце мое преисполнилось великим огорчением и жалостью к немощам моей матушки, равно как и к крова-

*) Боденское озеро на границе Швейцарии и Германии.

вым страстям нашего Спасителя, которого жи-
ды так жестоко замучили. И я так угостил Ма-
нассию кулаками, что он испустил дух. Господь
да не зачтет мне этого убийства. Я совершил
его, будучи, хотя уже рослым и сильным, как
настоящий мужчина, но все еще ребенком, и
притом мягкого и горячего нрава. У жида, одна-
ко, нашлось в городе и среди окрестного дво-
рянства немало друзей, и гибель моя была бы
неминуемой, если бы монастырь Всех Святых не
открыл мне своих врат. И так как мне не оста-
валось ничего, как радоваться, что они за мной
плотно захлопнулись, то я стал, неожиданно для
самого себя, духовным лицом, а год спустя и
монахом. Во всем этом я поступал искренно, и
не было того, чтобы я кривил душой. Но я мало
годился в монахи, да и сам я не знал тогда, ка-
ково мое истинное существо, и где почва, при-
годная для его процветания. Не поймите меня
ложно, господин мой, не одну греховную кровь
наших предков разумею я, но более того, жи-
вую искру, перелетевшую из рук Творца в гли-
ну, из которой я вылеплен. Это—сила, разум,
предприимчивость, строительство и любовь к
путешествиям. Но изо всех человеческих наук
и искусств в монастыре Всех Святых нельзя бы-
ло узнать ничего, кроме как латинского поэта
Виргилия памятного мне и по сей день, по
большей части наизусть.

Приор ценил в этом поэте набожного язычника, считая, что Господь, в награду за его добродетели, вдохнул в него пророческий дар; так что стихи его с ясностью отражают в себе лик Пречистой Матери с Младенцем. Поэтому-то свиток, по которому я учился, был весь в ножевых дырах. И когда в ночь на Иванов день я покидал монастырь, то перед тем, как перепрыгнуть через стену, я также трижды проткнул пергамент ножом с пламенным призывом ко всем трем святым именам и попал на слова: *sagittas, calamo, arcui* *).

И Виргилий сказал правду: всю свою жизнь я имел дело с луком и стрелами. Итак, мне сновагодились мои быстрые ноги, и я поспешил через лесистые горы к Альзасу, срезав по прямой линии большой изгиб Рейна. Около полудня я попал на лужайку перед одним укреплением, где разного рода люд занимался стрельбой из лука. Уже в пути запах земли и свобода движений опьянили меня. Нужно ли удивляться, что среди сутолоки этого веселого табора стрелков я взял у озорных парней, потешавшихся над беглым монахом, лук, выставил ногу вперед, и, став в позицию, принялся посылать выстрел за

*) Латинские слова, означающие „стрелы, тростник, лук“.

выстрелом в цель. Нужно вам сказать, что у меня от природы острый и верный глаз, не обманывавший меня никогда с самого детства.

Меня, отвыкшего от вина, так видно сильно подпоили, что я, распалившись духом, засучил рукава и подогнул по самый пояс рясу; далее мне смутно и с досадой припоминается, как меня носили с оголенными руками и ногами, при общих насмешках и хохоте, в шутовском триумфе. Ранним утром, в платье слуги, подаренном мне одним добрым парнем, я снова пустился в дорогу. Не без стыда взирал я на свое положение: позади меня, с одной стороны—запятнанный герб, с другой—разорванная ряса. Мне ничего не оставалось, кроме ремесла, и вот, я стал подыскивать себе такое, которое не вполне бы разлучило меня с рыцарским сословием и его обиходом и могло бы прокормить меня, как в мирное, так и в военное время. Тут-то мне стало понятным пророчество Виргилия, и я решил сделаться лучником и арбалетчиком. Сначала все трудно, господин мой, а мне приходилось бороться не только с бездельными привычками рыцаря большой дороги и монаха, но еще и с иными безрассудными движениями моего мягкого сердца. Я нуждался в прочном положении, ибо, хотя я и успел уже убить жида и нарушить монашеский обет, но мой благочестивый нрав чуть было не втянул меня в третье злодеяние.

Об этом я вам еще расскажу, в остальном же буду краток.

Я попал по дороге в Страсбург в компанию странствующих школяров, и мы кутили в шинке напротив стен и башен этого прославленного города. Тут мне вспомнилось, как моя матушка мне рассказывала о своей благочестивой тетке, которая вела праведную жизнь в одном из Страсбургских монастырей. К ее защите на небесах она успешно прибегала в тех случаях, когда волны бедствий грозили ее захлестнуть, и я решил во время моих скитаний поступать точно так же. Итак, я обратился к одному из школяров—парню с открытым и ясным лицом, знающему издавна, по его словам, город,—и в приветливых словах осведомился, не может ли он указать мне монастырь, где почила моя родственница Вилибиг, слышная святой. «Любезный,—ответил он,—видишь ли ты там восьмиугольную башню с пестрой кровлей, а рядом с ней длинное здание у городской стены? Там проживала твоя тетка».

Тут я бросился на колени, устремил взгляд на указанное здание и обратился к святой жене с горячей мольбой, прося ее быть мне поддержкой во всех добрых и спасительных начинаниях. И что же я слышу позади себя? Подавленное хихиканье, взрывы дикого хохота:—быстро повернув голову, я вижу, что мой школяр, смастерив из краев своей одежды два длинных уха, машет

и виляет ими рядом с моими ушами. Вместе с ним неистово хохочут и все остальные. «Осел молится на дом красоток!» В тот же миг этот плут очутился подо мной, а из глаз моих полились горькие слезы при виде людской злобы и низости; я стал так душить этого парня, что он, наверное, испустил бы дух, если бы остальные не вырвали его из моих рук.

В Страсбурге я поступил в первоначальное обучение к одному лучнику, который относился ко мне честно и научил меня добросовестно своему ремеслу, поскольку сам им владел. Но он был человеком обычая и привычки, и глядя на всякие ухищрения и усовершенствования, которые допускаются самим существом и внешней формой арбалета и которые, как раз в это время проникли к нам в Германию из Англии, Фландрии и особенно из языческой Гренады, он только покачивал упрямо головой. Я же, с моим юным пытливым умом, преодолев первые шаги, не мог никак успокоиться. Ведь, господин мой, в каждом, даже в самом малом из искусств, сокрыта задача совершенствования, которая влечет, манит нас и заставляет день и ночь стремиться к ее осуществлению.

Часто в ту пору мне удавалось в своих сновидениях построить лук или стрелу, которые были дальнобойнее даже сарацинского оружия, но с рассветом все мои изобретения тускнели и раз-

летались, словно обманчивые блуждающие огоньки. Ведь, все это были либо произвольные выдумки, либо неловкие нащупывания, ибо мне были известны лишь некоторые отдельные приемы, но не общие основы и законы моего искусства.

Тогда я решился пуститься в странствования, чтобы поучиться у мастеров. Путь мой лежал через Францию и Аквитанию; при переходе через Пиренейские горы каждый вечер мне чудился в багряных облаках заката город чудес, Гренада, куда влекло мою душу, покуда, наконец, он воочию не предстал передо мною в своих очертаниях на вечернем небе. И мне дано было созерцать все великолепие мира, там у них сосредоточенное, сквозные украшения их дворцов, пальмы и кипарисы их волшебных садов и вздымающиеся струи их шумящих фонтанов».

— И ты вернулся домой без того, чтобы тело твое и вера твоя подверглись обрезанию, бедный Ганс?—вставил свое слово Буркхард.

«Можете в этом не сомневаться; вернулся, к тому же, понабравшись ума по сравнению с прежним. Что же до моей христианской веры, то мне довелось даже отстаивать ее перед одним великим философом; я помогал ему усовершенствовать подзорные трубы, с помощью которых он наблюдал звезды. Каждую ночь он показывал мне вереницы медленно совершающих

свой путь небесных светил, объясняя, как спокон веков человеческие судьбы прикованы к этим сияющим знакам и фигурам, звериным подобиям и колесницам, так что ничья рука, ни Божеская, ни человеческая, не может остановить вращающихся спиц этого огненного колеса. Ни для человеческого произвола, ни для Божьего гнева или милосердия здесь не остается места.

Но я ему не верил и, в доказательство обратного, ссылаясь на бурные приливы раскаяния после совершенного греха.

В остальном я нашел и узнал в Гренаде то, зачем туда поехал. Языческие лучники несравненны. Это чистейшая правда, господин мой, недаром же они еще издревле,—как гласит предание, которому я охотно верю,—с остроумием и находчивостью сумели из формы лука извлечь более сжатую и удобную форму арбалета. Ибо Господь Бог открыл язычникам многие науки и искусства: математику, механику, зодчество,—всякого рода знания, где приходится иметь дело с взвешиванием и вычислениями; я полагаю, для того, чтобы даровать им перед вечной смертью краткие минуты торжества.

Каноник одобрительно кивнул головой в ответ на это мудрое замечание, и арбалетчик продолжал:

«Три года провел я в языческом городе, дни проходили незаметно, споря в своем беге с ра-

бстой; овладев мало-по-малу языком арабов, я улаждал себя по вечерам—вино и драки были позабыты—посещением тех открытых воздушных галлерей, где они собираются и рассказывают сказки. Там-то я услышал однажды из уст одного смуглого юноши с пламенными глазами рассказ—не хуже и не лучше других,—но этому юноше внимали с особой любовью, так как он умел представлять в лицах и движениях мужчин и женщин всех сословий. Вам кажется, что я уклоняюсь в сторону, но я не могу обойти этого рассказа молчанием, так как он относится прямо к делу.

Это — сказка о принце Лунный Свет. Молодой чужеземец, с одного из полных островов, прибыл в Кордову и завоевал благоволение калифа чарами своей красоты и своих речей, а также мастерской игрой в шахматы. При этом, несмотря на свою нежную молодость, он отличался такой остротой ума и государственной мудростью, что калиф, пользовавшийся его советами, без войн и кровопролития, путем одного лишь искусного управления, сделался самым могущественным из арабских властителей. Вот, почему калиф был совсем без ума от принца Лунный Свет,—так величали чужеземца жители Кордовы за бледность и кротость его лица. Не долго думая, он дал ему в жены прекраснейшую из своих сестер, принцессу Солнце, которая, од-

нажды увидев чужеземца, не могла более оторвать от него своих сияющих очей. Но Солнце и Луна не прожили вместе и года, так как рождение дочери стоило принцессе жизни. Вслед за этим сто завистливых царедворцев вступили в тайный заговор между собою против чужеземца, считая положение его пошатнувшимся. Умный принц изобличил их, но в то же время, по своему кроткому нраву, просил за их жизнь. И вот, однажды, рабы калифа пригнали в ворота его дворца десять мулов с таким же числом мешков, и когда челядь вскрыла эти мешки, оттуда выкатились на мраморные плиты его двора головы всех его ста врагов. Но принц, получивший этот кровавый дар, при виде его, побледнел, удалился во внутренние покои и с наступлением ночи, вынув из колыбели своего ребенка, сел на коня и покинул спящую Кордову. Вместе с ним счастье и могущество навсегда отвернулись от калифа.

Рассказчик в пылу своего повествования клялся, что знал лично принца Лунный Свет и при частых встречах на площадях Кордовы, смиренно приветствовал его, скрестив руки на груди. Они не очень разнились по возрасту, а со времени тех событий не прошло и десяти лет. Рассказчик был убежден, что слова его правдивы, я же — не вполне, ибо мавры, господин мой, лгут с большей искренностью, чем мы: их живое во-

ображение обманывает их самих, выдавая не бывшее за бывшее. Незадолго до моего отъезда мне вторично довелось услышать из уст этого смуглолицого малого сказку про принца Лунный Свет и, говоря по правде, без заметных прикрас или изменений. Это меня поразило, но я не имел досуга для расспросов, ибо я сам в то время, подобно принцу Лунный Свет, собирался расстаться с этими чуждыми мне нравами и обычаями и вихомолку вернуться во-свояси, в христианские страны.

Я предпринял морское путешествие в Англию, где мне вскоре удалось найти работу у примечательнейшего лучника города Лондона. Открытая им мастерская находилась на берегу Темзы, неподалеку от замка Тоуэра и там работало много подмастерьев. Король и рыцарство прибегали к услугам его искусства, и поэтому его состояние сильно увеличилось, и его можно было бы называть видной особой, если бы он не был, как и все ремесленники, саксонского происхождения. Саксы же, со времени их завоевания норманнами, не в чести у своих господ и совсем не по-христиански подвергаются притеснениям».

— Ого!—перебил господин Буркхард,—это ли речь человека, который добрую половину жизни красовался в свите короля Генриха?

Ганс кинул на каноника умный взгляд и, не долго раздумывая, возразил ему:

«В суждениях, как и в стрельбе, все зависит от взгляда. В то время, живя среди саксов, я сторонился или снимал шапку, когда, бывало, мимо меня проносился отряд норманнов на законных в латы конях; позднее, когда я сам высоко взмогился, моя честь не допустила бы, чтобы сакс разговаривал со мной иначе, как с непокрытой головой. Теперь, когда и норманны, и саксы для меня—лишь потускневшие воспоминания, я приобрел, вместе с умудренностью своих седин, более умеренный средний взгляд и скажу вот что: власть завоевателя—от Бога, и так как у норманнов кровь горячее и дух неукротимей, то они и являются господами. Впрочем, один и тот же Бог принял смиренный образ и искупил всех нас своею драгоценною кровью; не следует, поэтому, причинять огорчения своим слугам и подымать руку на их жен и детей. Но как раз это, однако, приключилось с моим хозяином, в доме которого подрастала, на его собственное горе, красавица-дочь.

По всей правде, златокудрая Хильда была красивейшей девушкой Лондона, и я не мог оторвать от нее очей, когда она, после вечерней трапезы, не заставляя себя долго просить, пела нам свои баллады...»

И под наплывом воспоминаний бородач с его широким выступающим лбом закачал головой и не особенно благозвучно замурлыкал:

...In Lõndon was young Beichan born,
He longed strange countries for to see *).

— В какие дебри ты забираешься, Ганс?—воскликнул с зарождающимся неудовольствием Буркхард, не понимавший английского языка.

Арбалетчик очнулся от своих грез и, уловив в несколько утомленном выражении лица своего пожилого собеседника, что чрезмерно затянувшееся вступление начинает ему докучать, с горячностью к нему обратился:

«Знаете ли вы, господин мой, о чем говорится в этой балладе, которую нам пела Хильда? О рождении некоего святого из лона сарацинки, того самого святого, историю которого я вам собираюсь рассказать».

Внезапный поворот, которым Ганс сумел вывести свой маленький кораблик из фарватера собственной жизни в более широкое течение, послужил толчком канонику. Он выпрямился на своем кресле так резко и быстро, как только позволяли его годы, и в удивлении воскликнул:

— Сарацинская кровь в жилах св. Фомы? Милый человек, в уме ли ты?

«Если бы у вас хватило терпения прочесть пергамент, который, как вы говорите, вам одолжила аббатисса из монастыря, то вы не стали бы смо-

*) Начало старой английской баллады:
В Лондоне родился молодой Бейкан...
Хотелось ему посмотреть чужие страны».

треть на меня столь испуганным взором, ибо я готов биться об заклад, что как раз это обстоятельство там особенно выделено. Ведь не даром все лондонское духовенство приняло такое участие во всем этом деле и всячески старалось обратить язычницу в истинную веру прежде, чем разрешить ей вступить в христианский брак. Они окрестили ее под именем Грации или Грас, что по-немецки означает «Благодать», в память великой милости, оказанной неверной сарацинке Богоматерью.

В брачную ночь сарацинки некая пророчествующая монахиня в Лондоне имела видение: из нового союза произросла до самого неба белая лилия, что означает святого.

Произошло именно так, как предвещало пророческое видение.

Но дорогой ценой пришлось заплатить за то, что из ребенка вырос святой: кровью и бесконечными бедствиями, падением короля и, если не гибелью, то потрясением целого королевства. Я хочу вам теперь, ради вашего удобства, рассказать все по порядку о том, кто были родители Томаса Бекета.

Эта повесть мне хорошо знакома, так как еще моя белокурая Хильда не могла на нее нарадоваться. Девушка была в то время юной и невинной и находила естественным то чудо, что

двое любящих отыскиали друг друга через все моря и земли.

Много лет тому назад случилось, что один лондонский купец, по имени Гильберт Бекет, отправился на восток, подвергся нападению и был взят в плен одним из князей, кочующих по пустыне со своими всадниками и стадами. Но собственная дочь язычника сжалилась над пленником и перерезала его узы. Не прошло и года, как она бежала вслед за саксом, ибо она отдала ему свое сердце. Там, в Англии, сложены песни и рассказы про то, как знатная язычница, имея в запасе всего лишь два английских слова: Лондон и Гильберт, разыскала дорогу к своему возлюбленному».

— Послушай, Ганс,—дал каноник волю нарастающему в нем сомнению,—ты скачешь на крылатом коне выдумки не хуже, чем твой смуглолицый друг, сказочник из Кордовы. Не хватает лишь, чтобы ты стал клясться, будто сам был при этом!

Лучник пожал равнодушно плечами

«Не я сам, господин мой, но лондонский мой хозяин, человек точный и сухой, часто рассказывал мне, как он, молодым подмастерьем, бежал по улицам города, вслед за странствующей сарацинкой, ибо эта последняя останавливала каждого встречного и вопрошала: «Гильберт?» Таким образом, она сделалась известной всему

городу, и за ней следом ходило не мало народу, вместе с ней взывавшего: «Гильберт»,—кто из сострадания к прекрасной, исхудалой женщине, отказывавшейся, в своей печали, от всякой пищи; кто, издеваясь над безрассудной, желающей выискать некоего Гильберта в Лондоне, где имя это столь распространено. Передают, что, наконец, истинный Гильберт выглянул в окно, вышел из дверей и, взяв язычницу за руку, привел ее к своему очагу.

При этом рассказе хозяин никогда не упускал случая прибавить: «Странствующие язычницы, Ганс, не приносят нам, христианам, ничего доброго. Лучше дитя пустыни оставалось бы у себя в шатре, чем приплывать в нашу Англию и производить на свет канцлера, изменника своему народу.

Канцлер, знаменитый канцлер, услада и мудрость короля, предмет восхищения и зависти норманнов, ненависти, и тайного страха саксов, был в то время у всех на устах. Его быстро восходящая звезда, милости и почести, сыпавшиеся на него, как из рога изобилия, его башни, замки, аббатства, его волшебные сады, необозримые леса, его свита—вначале из сотен, а потом из тысяч рыцарей,—золотая упряжь его коней и мулов, роскошные пиры на его празднествах и неисчислимые толпы гостей, его драгоценные одежды и сверкающие камни, — все это наполняло лон-

денцев изумлением и давало пищу разговорам с утра до вечера.

В мастерской во время работы мне было не до того, чтобы затыкать себе уши, и они мне их прожужжали рассказами про сына сакса и сарацинки. Меня не удивляло, что его соотечественники приписывали ему все смертные грехи: для того имелись причины политические, так как канцлер был единственным саксом, на котором почтили лучи королевского благоволения; но остается все же достойным внимания, что у отцов не нашлось ни одного доброго слова для того самого человека, на которого дети теперь молятся.

Передавали, что он был плохим сыном, не выносившим запаха отцовских бочек с маслом и тюков с товарами. Юноша поступил сначала на службу к одному из норманских епископов, известному своим пышным образом жизни; там он научился лепетать по-французски, и с тех пор с его уст не слетало ни одного слова на честном языке саксов. Чтобы изгладить следы своего саксонского, с отцовской стороны, происхождения, он с легким сердцем принял рукоположение в низший духовный сан, от этого самого норманна. Затем, разбогатеv, благодаря смерти своего отца, он переехал через море, отпустил в Калэ своих верных саксонских слуг, нанял французскую челядь, обзавелся богатыми одеждами и

объявился рыцарем. Через Аквитанию и Испанию он направился к мавританским дворам, влекомый туда своей материнской языческой кровью, и попал в высшую милость к кордовскому калифу. Там он занимался, вкупе с восточными мудрецами, астрологией и тайными науками и превзошел в этом вскоре своих учителей, так что по возвращении на родину ему удалось приворожить к себе адскими чарами короля Генриха. Во всем этом, господин мой, трудно доискаться золотого зерна истины,—и тем сильнее росло мое желание увидеть эту живую легенду собственными глазами; но мне пришлось запастись терпением, так как Томас Бекет находился в то время вместе с королем по ту сторону пролива в Аквитании, области, принадлежавшей, как вы знаете, к собственным владениям королевы.

Наконец, день настал. Я занимался резьбой бруска для самострела в нашей мастерской; вдруг на улице поднимается волнение, движение и шум; мои подмастерья бросают работу, влезают на скамьи и стулья и высовываются из окон. Гремят бубны и литавры. Позади верховых музыкантов следует герольд с изображением трех пантер на груди и расчищает дорогу сыну язычницы Грации.

Это был красивый мужчина с осанкой царя Соломона. Правда, он не мог поспорить с норманскими рыцарями в свежести лица и в могу-

чем росте; но он с несравненным изяществом правил своим гарцующим арабским конем в золотой упряжи, и его бледное лицо отличалось сосредоточенностью и приветливостью.

Когда я так вот стоял среди простого люда, глядя с восхищением на канцлера, то мне и в голову не приходило, что я сам в скором времени окажусь на службе короля и буду там ежедневно и даже ежечасно встречаться с этим удивительным человеком.

Случилось же это следующим образом. В мастерскую нашего хозяина заходили норманны, ибо там постоянно представлялась возможность испробовать усовершенствованные арбалеты новых образцов. К сожалению, при этих посещениях застенчивой Хильде не всегда удавалось оставаться незамеченной. Она была отрадой и желанием моих очей, и от меня не могло укрыться, что не к добру она привлекала к себе слишком пристальные взгляды норманских рыцарей. Один из них, по имени Гюи Малерб, — что означает — Сорная Трава, — коротал свои бездельные дни в свите и за пышной трапезой канцлера; дерзкий, несдержанный дворянчик говорил при этом с женщинами очень вкрадчиво; с каждым днем он все более уязвлял меня и досаждал мне; и сердце мое снедала тоска при виде того, как он вел свою игру с саксонской девушкой, держа на границе шутилых намеков и непри-

крытой господской дерзости. И я не смел за это всадить ему в бок нож. Своей жизнью я всегда готов был за это поплатиться, но быть причиной гибели своего хозяина и девочки, как это неминуемо бы случилось,—этого я не желал.

Что там тратить слова, когда господин Буркхард, на примере своей собственной молодости, может вспомнить, с каким проворством дьявол в таких случаях раскидывает свои сети и уловляет нас.

Однажды нас с хозяином позвали в замок, лежащий в нескольких милях от Лондона, чтобы оборудовать оружейную одного из норманских рыцарей. Все это было, очевидно, подстроено заранее. Нас там задержали под разными предлогами; когда же мы вернулись в Лондон, то юная Хильда исчезла. По показаниям соседей, слышавших ночью порой конский топот и жалобные крики, ее увезли силком; по словам же трусливых подмастерий и перепуганных слуганок, допрошенных хозяином, она последовала добровольно за похитителями.

Мое подозрение пало на Гюи Малерба, да что там! Дело было дня меня ясно. И вот, я посоветовал своему хозяину пасть на колени перед канцлером и преградить ему дорогу, когда тот будет проезжать, по направлению к Тоуэру, мимо нашей мастерской, кастеляном которой король его назначил, и не вставать, покуда канцлер его

не выслушает и не привлечет своего норманского вассала к ответу.

Так тот и сделал. Мой бедный хозяин пал ниц перед нарядным конем канцлера и, вырывая из своей седой бороды волосы, стал взывать прерывающимся голосом, со слезами на глазах, о справедливом возмездии похитителю своей дочери. Этот же следовал в третьем ряду свиты позади своего блестящего повелителя, с вызывающим выражением на лице, но с беспокойными глазами.

Я вижу до сих пор и никогда не забуду, как канцлер равнодушно и невозмутимо, не изменившись в лице, едва скользнул по перепуганному старику взглядом своих темных глаз из-под полужакрытых век и медленно направил своего коня мимо него.

Близкий к отчаянию, сакс вскочил на ноги и, потрясая сжатыми кулаками, закричал ему вслед: «Жаль, поп, что у тебя нет дочери, чтобы какой-нибудь норманн мог тебе ее испортить!» Тогда Томас Бекет, словно преследуемый докучной мухой, слегка тронул своего арабского коня, чтобы несколько ускорить его ход. Я же увлек старика поскорее обратно в дом, дабы избавить его от насмешливых взглядов и презрительных шуток со стороны толпы всадников, сопровождавших канцлера.

И вот, наступили скорбные дни, о которых я и по сейчас не могу вспомнить без горечи; тогда же мне казалось, что я их не переживу. Не стало легче и от того, что однажды в сумерки Хильда прокралась незамеченной в пустую мастерскую и стала поджидать там своего отца,—она знала, что он имел обыкновение с наступлением ночи собственноручно закрывать ставни и двери.

Я никогда не мог узнать, отпустил ли норманн Малерб свою пленницу добровольно, наскучив ею, или же канцлер, со свойственной ему скрытностью, все же оказал на него давление.

Но одно мне было ясно: хозяин с добрыми намерениями стал побуждать меня покинуть его дом. Он намеревался отдать свое поруганное, запуганное дитя в жены одному англосаксу из своей родни,—неотесанному рыжеволосому парню, по имени Трустан Гримм, работавшему в мастерской, и ему не хотелось, чтобы я был тому свидетелем. Поэтому он принялся ежедневно уговаривать меня подыскать себе место получше; в то время, чтобы совладать со своей скорбью и гневом, я как раз изобрел арбалет, который был дальнобойнее и натягивался легче, чем все другие того времени,—славная работа, хотя впоследствии мне вновь удалось ее превзойти. Вот хозяин и стал убеждать меня лично представить свое изобретение на благовоззрение короля Ген-

риха, который был известен, как покровитель и поощритель благородного искусства стрельбы и метания. Я видел, что он желает мне добра, и последовал его совету».

IV.

«Когда я впервые предстал в Виндзорском дворце перед королем Англии, сердце мое затрепетало в груди, ибо он отличался могучим ростом и величественной осанкой, а его ясные голубые глаза горели, как пламя. Вначале он немилостиво взглянул на меня, но тотчас же понял в чем дело, скорее при взгляде на преподнесенный ему арбалет, чем из моей запинаящейся речи; он взял арбалет, вложил стрелу, натянул тетиву и, подойдя к открытому окну, выстрелил в ворону, сидевшую на неподвижном, — ветра не было,—флюгере дворцовой башни. По лицу его пробежала веселая улыбка, когда он увидел, как флюгер завертелся, и птица свалилась на кровельный жолоб.

Он еще раз испытующе потрогал пальцем тетиву и спуск и затем посмотрел на меня довольным взглядом. «Это искусно сработано, парень,—похвалил он мою работу,—на, снеси в мою оружейную и представься моему оружейнику в качестве моего слуги, ибо ты останешься при

моей особе, немец, и будешь носить за мной на охоту арбалет».

Возражать не приходилось, если бы даже мое сердце и не лежало к тому, чтобы попытать, как высшей удачи, счастья на королевской службе.

Не успел король окончить своих слов, как в комнату вбежал его третий сын, подросток Ричард, с радостными криками: «Отец, смотри, вот норманские жеребцы. Великолепная порода!» И король Генрих дал увлечь себя своему любимцу.

Тут выступил из глубокой ниши, где он сидел, незамеченный мною у мраморного стола, заваленного бумагами, бледный человек благородного вида, в драгоценных одеждах, красиво и спокойно ниспадавших с плеч, и подошел ко мне. Ему также, как будто, хотелось познакомиться с моим изобретением. Это был канцлер. Я повторил ему свой урок с большим смущением,—верите ли мне,—чем перед королем, ибо меня охватила робость, когда он, внимательно вслушиваясь в мои слова, дал мне высказаться до конца. Мне казалось, что мои речи, теряющиеся в этом-высоком сводчатом зале, звучат слишком смело и громко. «Ваша милость,—закончил я,—вы ведь ученый, и вряд ли вас радуют предметы военного обихода».

Он опустил темные глаза и приветливо ответил:

«Я ценю искусство и мысль, и мне по душе, когда разум одерживает верх над кулаком, и когда слабейший издалика настигает и побеждает сильнейшего».

Этой прекрасной и проницательной похвалой арбалету, господин мой, канцлер поймал меня, помимо своей воли, на удочку, и я бы выразил в благодарных словах восхищение перед его мудростью, если бы мог преодолеть свою робость перед этим бледным и сверхчеловечески умным лицом.

Войдя в оружейную, я увидел там оружейника, седовласого норманна, ростом выше меня на пелю голову. Господин Ролло встретил меня высокомерно и пренебрежительно, но, тем не менее, занялся подробно моим изобретением, ибо он был лучшим знатоком военных доспехов в Англии. Он процедил сквозь зубы нечто вроде похвалы и, в конце концов, одобрил мое изобретение. Когда он спросил меня затем о моем происхождении и узнал, что я родом из местности неподалеку от Швабского моря *), он подарил меня внимательным взглядом из-под наморщенного лба.

«Верные люди швабы,—сказал он,—таких-то нам и нужно здесь, при дворе. Если будешь дер-

*) Так называлось иногда в старину (в наше время лишь в поэзии) самое большое озеро Германии—Боденское, по немецкому племени швабов, живущему к северу от него.

жать себя с прямою, немец, то тебе не будет недостатка ни в милостях, ни в наградах. Ты поступаешь на службу к могущественному государю».

И он принялся восхвалять в пышных словах свойства норманских королей и перечислять мне их владения и государства. «По сю и по ту сторону моря простирается их власть,—похвалялся он,—и что раз ими захвачено, того они уже не выпустят из рук».

При этом он показал мне на кольчуги и шлемы Завоевателя и его сына, висевшие по стенам длинного зала на первом месте в нескончаемом ряду доспехов и оружия.

«В одном лишь, в самом последнем, их преследует несчастье,—заметил он, покачивая головой и не позволяя мне притронуться к заржавленной стреле, лежавшей под доспехами второго короля на каменном выступе.—Высокие особы все плохо кончают. Вот эта стрела,—одному Богу или дьяволу известно, кто ее пустил,—прервала жизненную нить короля Вильгельма Рыжеволосого в разгаре его охотничьих потех. Но что же из того? У блистательных светил бывают кровавые закаты».

С этих пор я стал выезжать следом за моим господином и королем на охоту и военные дела: при этом я нашел его таким, каким он предста-

вился мне в первый же день нашей встречи: в расположении духа изменчивым, как апрель, жестким, нетерпеливым, вспыльчивым, страшным в гневе и в то же время общительным, страшным и ласковым,—настолько, что в хорошую минуту можно было отважиться на шутку, причем иной раз мой высокий повелитель, вместе со своею свитою, потешался до слез.

Но если мне удалось из конюшен и оружейных проникнуть в прихожие, и если под конец мне было позволено, как псу, ложиться на пороге королевской спальни, то случилось это не вдруг и не скачками, а мало-по-малу, шаг за шагом.

Король Генрих был силен в охотничьих потехах; он любил на охотах с борзыми летать, как ветер, преследуя оленя и оставляя далеко позади себя свою свиту. Имея скромные потребности, он готов был с наступлением ночи довольствоваться первым попавшимся ночлегом; следуя постоянно за ним вплотную на моем фыркающем коне, я часто бывал единственным, кто мог услужить ему, и мне случалось также укладывать его, опьяненного вином, в постель, когда он, разгоряченный охотой, слишком усердно отведывал из кубка. Таким образом, он привык к моим услугам и ко мне самому, и если я и не втирался коварством и хитростью

в его доверие, то все же сделался достаточно осмотрительным, чтобы своей неловкостью не портить себе удачной игры.

И три вещи послужили мне при этом на пользу; то, что я не был ни норманном, ни саксом, то, что я не принимал ни жалованья, ни подарков ни от кого, кроме своего господина,—исключая в иных случаях канцлера, которому никто ни в чем не смел отказать,—и то, что я, не прикидываясь дурачком, выказывал себя несколько более простоватым, нежели был от природы, и несколько более неопытным, чем на самом деле. И таким образом, мое швабское прямотушие пришлось по душе королю Генриху.

Но и сэр Томас Бекет помог мне войти в милость к королю тем, что удостоивал меня своих благосклонных взглядов,—ибо король глядел на все глазами своего канцлера,—и тем, что он порой бросал мне несколько шутливых, но вместе с тем, и глубокомысленных слов, которых из почтительности не осмеливался обратиться прямо к королю, желая, однако, чтобы они до него долетели. Благоволение канцлера выпало мне на долю в тот день, когда нам обоим с ним пришлось приложить палец к губам.

В первый год моей королевской службы случилось так, что сир Генрих прилег подремать под вечер в душный летний день у себя в покоях; в это время явился к нему канцлер по

неотложным делам. Я вышел к нему и шепнул, приложив палец к губам: «Ваша Светлость, король спит». Нужно вам сказать, господин мой, что у язычников в Гренаде, как у знатных, так и у простых, существует благочестивый обычай при упоминании о сне и дреме прибавлять: «Хвала тому, кто не спит и не дремлет». Усваивая себе эту привычку с детства, они вкладывают при этом в свои слова не более, чем мы, швабы, в наше «здравствуйте»... Так как мне пришлось жить среди язычников, то и я усвоил себе, равным образом, эту поговорку, чтобы придать себе этим невинным способом нечто вроде местной окраски. Был ли я сам тогда в дремотном забытьи, или же лицо канцлера, казавшееся мне еще бледнее обыкновенного в этой занавешенной комнате, напомнило мне черты мавра, или же, наконец, я это сделал по простой привычке, сила которой велика—но только я выразился так: «Ваша Светлость, король спит. Хвала тому, кто не спит и не дремлет». Тут канцлер, против своей воли, улыбнулся, обнаружив при этом весь ряд своих жемчужных зубов, и спросил меня затем серьезным тоном: «Откуда взялось у немца подобное приветствие?»

Покуда мы ждали пробуждения короля, я поведал канцлеру о трех годах своего учения у лучника в Гренаде и рассказал ему также исто-

рию о прице Лунный Свет. Это был, правда, рискованный шаг, который мог привести к дурным для меня последствиям. Но соблазн вывести, не одно ли и то же лицо принц Лунный Свет и канцлер—и попробовать хоть на этот раз захватить врасплох всегда невозмутимого человека,—был слишком велик.

Но сэр Томас не повел и бровью. Некоторое время он, по своему обыкновению, стоял в раздумьи, опустив очи долу; затем взглянул на меня и медленно приложил свой белый палец к губам. Я преклонил перед ним колено и, вслед затем, доложил о нем королю, в комнате которого тем временем послышалось движение.

Так как я пользовался равным благоволением и доверием обоих повелителей, то вам не покажется невероятным то чудесное обстоятельство, что на мою долю выпадало редкое отличие присутствовать за креслом моего короля, при его совещаниях с канцлером о государственных делах. На мне лежала в таких случаях обязанность наливать моему господину Генриху искрящееся белое вино, вывезенное из Франции; при этом он, бывало, следил хитрыми глазами и с выражением полного удовольствия на лице за остроумными разъяснениями и запутанными шахматными ходами своего канцлера, а сам, словно гибкая белая змея, грелся в лучах его королевского благоволения.

Король Генрих взирал на вознесенного им из ничтожества человека с удовлетворением, как на создание своих рук. Но создание это, господин мой, сделалось для самого создателя необходимостью и своею мягкой настойчивостью покорило его себе.

Часто присутствовал я при том, как канцлер задерживал короля на самом пороге в то время, как оседланные для охоты лошади уже били копытами и ржали во дворе замка; разворачивая перед ним свои свитки, он силой своих мягких речей принуждал своего неукротимого собеседника выслушать себя. Я поражаюсь его умению с карандашом в одной руке и с пергаментом в другой ловить бросаемые королем Генрихом решения и давать им в прекрасной, стройной, текущей, как расплавленное золото, речи дальнейшее развитие».

— И твоя речь течет мне на удивление,—с'язвил каноник.

«Дайте волю моим речам,—возразил Ганс,—позвольте мне описать вам этого диковинного человека, самого диковинного, какого когда-либо носила земля, образец и предмет подражания нашего века. Знатнейшие дворяне Англии отдавали ему своих сыновей в пажи; молодой дворянин, не получивший посвящения в рыцари из рук этого саксонского выскочки, не считался закончившим свое придворное воспитание в

глазах этой надменной и презрительной молодежи.

Меня часто потешало, что юные щеголи, которые никогда не осквернили бы своих цветущих уст ни единым английским словом, не сводили глаз с бледных губ Томаса Бекета, в устах которого, правда, французская придворная речь звучала изящнее, чем у кого либо из них. Они наматывали себе на ус каждый оборот его речи, восхищались тонкостью его шуток, подражали покрою его одежды и плавности его движений, как высшей ступени придворного совершенства.

Но на мой взгляд, канцлеру не хватало одного: силы и неукротимости мужского нрава. Не то, чтобы он был трусливым: бабе не продержаться бы ни одного дня при дворе, ибо норманны щепетильны в вопросах чести, как ни, одно дворянство. Они тотчас обнажат мечи, и кто не в состоянии по достоинству ответить на язвительный взгляд или удар клинка—дело того проиграно.

Канцлер, хоть и клерик наполовину, был искушен во всех рыцарских приемах и в пользовании всякого рода оружием; тут ему пригодился его гибкий стан; когда государственные дела это допускали, он сопровождал также короля и в его походах. Однажды я взобрался по его пятам по приставной лестнице на стену французской

крепости и видел, как он по ту сторону схватился в рукопашную со свирепым пикардийцем, правда, со смертельной бледностью на лице и со стиснутыми зубами. Ускользнув от руки врага, он метким ударом пронзил сердце воина. Но, вслед затем, когда противник его лежал уже в луже крови, он с отвращением и ужасом взглянул на свой окровавленный меч и отбросил его от себя. «Лучник, подай мне чистый»,—приказал он мне,—а ведь этот меч, рассекавший чешую любой кольчуги, как сукно, был образцом чужеземного оружейного мастерства. Я сохранил его и много лет пользовался им для собственной защиты.

Сэру Томасу не по нраву было проливать кровь. В обширных его поместьях дичь паслась и резвилась, словно в райском саду; когда он посещал свои лесные уголья, серны подходили к нему и с радостью ели у него прямо из рук.

Он не в состоянии был также подписать ни одного смертного приговора, не изменившись в лице; быть свидетелем казней,—каковые нередки во всяком благоустроенном государстве, — было выше его сил; в то время, как мой король и повелитель охотно достаивал их своим присутствием, в качестве воплощенной справедливости, канцлер, напротив, часто давал королю Генриху пищу для смеха, когда им случалось вместе проезжать мимо лобного места, и сэра Томас с не-

удовольствием отворачивался от него,—и делал он это не по причине обитающих там духов (канцлер был человеком неверующим), а, как он однажды проговорился, под влиянием чувства ужаса перед мучениями людей, истерзанные члены которых там содрогались на колесе.

Он даже воспротивился подписать приговор одной колдунье и ведьме, известной всей стране и сознавшей в своих бесовских злодеяниях, и этой своей языческой прихотью восстановил против себя всю Англию: короля, дворянство, духовенство и народ.

То была черная Мари; она колдовала в деревне неподалеку от Лондона, накликала грозы, напускала мор, душила детей и животных, покуда, наконец, духовный суд не подверг ее пыткам и она, после своего добровольного сознания, не была милостиво приговорена к земному сожжению во спасение от огня вечного ее покаявшейся души. Тут-то и случилось, что разжалобленный канцлер посетил эту женщину-чудовище в ужасной темнице и заставил ее рассказать себе про ее одинокую молодость и про позднейшее общение с дьяволом. И, поверите ли вы: в то время, как черная Мари, обливаясь горячими слезами, взывала к очишающему пламени, канцлер пытался разубедить ее в существовании чорта, доказывая ей, что она обманывает и себя, и других. И чем нагляднее она все это ему изображала, тем не-

доверчивее становился язычник. Сэр Томас представил дело на благовоззрение короля, но тот и слышать не хотел о помиловании и величественно объявил канцлеру: «Я — христианская совесть Англии, я не могу этого сделать». Тогда канцлер спокойно произнес: «Могу ли я идти наперекор высокой мудрости нашего века, составляющей и твою мудрость, о, государь!» — и подписал смертный приговор. Некоторое время спустя, выходя из зала, он обратился ко мне, стоявшему у порога, и сказал: «Мари такая же ведьма, как я — святой. Мой старый Ганс, бывают минуты, когда мне становится жутко при мысли о том, что такое люди и чем они себя воображают».

Этих слов я никогда не мог понять, но я вынужден допустить, что сэр Томас, со своей высокомерной философией, не верил в существование дьявольских чар.

Когда настало время вести черную Мари на казнь, темница ее оказалась пустой. Король Генрих грозно призвал канцлера к ответу, но тот высказал мнение, что это такое же точно дьявольское навождение, как и все прежние. Этим дело было исчерпано.

Позднее распространился слух, что черная Мари вовсе не улétела в облаке смрадного дыма, а спокойно и уединенно проживает на одной из отдаленных мыз канцлера. Если она искренно раскаялась, то пускай живет там на здоровье. Я

должен вам признаться, что и меня охватила жалость, когда я увидел грешницу, сидящую на сгнившей соломе, с ее черными безумными глазами, устремленными на канцлера из-под спутанных прядей волос, и когда я услышал, как она жаловалась на свою беззащитную молодость и на обиду, ей нанесенную еще в пору ее невинности. Ведь и я мог бы спеть об этом песенку!

Итак, вы видите, господин мой,—ибо сам я честно в этом признался, — канцлер при своих посещениях ведьмы брал меня с собой, как надежного человека».

Каноник испытующе взглянул на арбалетчика:

— Это ты, Ганс,—воскликнул он,—устроил побег гнусной женщины!

«Вы вправду так думаете, господин мой?»—возразил Ганс, и губы его под бородой как будто искривились усмешкой. Затем он отвел в сторону разговор.

«В Англии в то время проживала еще другая, злейшая ведьма; ее тоже не удалось сжечь и по причине, при том, весьма основательной.

Мой король и повелитель был на ней женат. Как случилось, что Генрих вступил в брак с госпожей Эленор, разведенной женой короля Франции,—станет ясно всякому, кто посмотрит на карту земли и сосчитает на ней страны, принесенные королевой в приданое. Это—Гасконь, Сен-

тонж и Пуату с бесчисленными замками и городами. В молодости госпожа Элленор была, говорят, миловидной и скромной. Я не хочу вырывать из ее венца этого весеннего цветка. В те же времена, когда мне приходилось преклонять перед ней колено, ее голову украшал шлем густых черных волос, беспокойные глаза были постоянно чем-то заняты, а ноги не знали усталости. Король Генрих держал ее поодаль от себя, то где-нибудь в аббатстве,—ибо по временам на нее находила набожность,—то в одном из отдаленных замков с немногочисленной челядью, ряды которой время от времени пополнялись каким-нибудь честодобивым младшим сыном дворянского семейства или тщеславным странствующим певцом, которому льстило находиться вблизи знатной дамы.

Канцлер при встречах с королевой, когда таковые бывали неизбежны, выказывал ей знаки глубокого почтения, хотя, как я думаю, она претила ему; ибо в женщинах ему нравились нежность и благопристойность. И он любил услаждать свои взоры,—хотя великий лжепророк и запретил своим приверженцам тешить себя людскими изображениями,—созерцанием белых спокойных тел целомудренных мраморных женщин, которых он понаставил в своих дворцах. Вам, верно, не случалось видеть подобных. Их извлекают из-под обломков разрушенных греческих храмов, и владыка Византии, в благодарность за полити-

ческую услугу, подарил канцлеру несколько таких статуй. Это—мертвые изваяния, с глазами, лишенными взгляда и выражения, но если долго на них смотреть, то они начинают оживать, и я нередко простаивал перед этими холодными созданиями, стараясь разгадать, какого они нрава,—веселого или печального. Что до госпожи Эллениор, которая была не из мрамора, то канцлер не находил в ней прелести, а она, с своей стороны, от всего сердца его ненавидела. Возможно, что ему, подобно невинному Иосифу у Египтянки, когда-либо пришлось оставить свой пурпурный плащ в ее руках; ибо, несмотря на то, что сама она была верной дочерью церкви,—и в этом отношении я никогда не слышал про нее дурного слова,—она питала пристрастие к язычникам; ведь случилось же ей в давние времена, сопровождая своего богобоязненного первого мужа в крестовом походе во Святую Землю, связаться с сарацинским молокососом. Вам это не может быть неизвестным, так как эта история прогремела на весь мир.

Быть может, впрочем, она ненавидела канцлера только потому, что тот следил за каждым ее шагом, усматривая в ней опасность, грозящую мутой всему королевству. Подумайте только, господин мой, что три области, которыми она владеет, должны были перейти, в качестве материнского наследства, к четырем сыновьям короля—

Генриху, Готфриду, Ричарду и Гансу. Итак, мудрость канцлера побуждала его в обращении с королевой не натягивать слишком сильно вожжей, но и не ослаблять их,—первое, для того, чтобы прихотями своей горячей крови она не посрамила короля и Англии, второе,—чтобы, в припадке гнева, она не закусила удила и не вырвалась бы из рук вместе со своими областями и сыновьями.

А сыновей этих сэр Томас не отпускал от себя ни на шаг, был им нежным отцом и непрестанным наставником. Если бы природа не склонна была чаще насмеяться над воспитанием, нежели подчиняться ему, то эти четыре принца Англии не имели бы себе равных,—столько положил на них канцлер великой любви и блестящей мудрости. Но принц Генрих ценил в канцлере всего лишь покрой платья и благородную выразительность движений; ибо сам он был щеголем и любил ломаться. Принц Готфрид, в свою очередь, ото дня ко дню, забывал, что вчера любил и чем клялся, и со своим непостоянством не мог довести до конца ни одной потехи, ни одного серьезного дела.

Третий сын короля, Ричард Львиное Сердце, был любимцем сэра Томаса, да и мне он пришелся по душе. Проявления его нрава были открытыми и честными, как звук охотничьего рога, и весь он кипел, словно пена на удилах молодого коня. Ему нельзя было противостоять, его

волей-неволей приходилось любить, но ума в нем не было ни на грош. Вот он и сидит нынче в заточении в Австрии, расплачиваясь за свою горячую кровь. Принц Ганс, четвертый сын,—Боже упаси меня высказываться против него, ведь он стоит теперь ближе всех к трону,—но никогда земля не производила более злого, бездельного мальчишки. Вот эти руки не раз чесались у меня, когда он пускался на свои коварные проделки со мною или с каким-нибудь другим божьим созданием, портил мне, из озорства, искусно сработанный арбалет или мучил бессловесных тварей. Как он смеялся! Никогда в жизни, даже в харчевнях и на рынках, мне не приходилось слышать такого гнусного смеха. Вы должны знать, что канцлер присутствовал иной раз при том, как я обучал их всех четырех стрельбе; во время перерывов, он имел обыкновение рассказывать им, для развлечения и назидания, басни про животных; меня, как охотника, они особенно потешали. Там говорили и действовали пернатые и четвероногие, все согласно своей природе или, по меньшей мере, согласно тому, как себе ее представляют люди; и эта умная забава также была изобретена арабами, чтобы невозбранно порицать и высмеивать ошибки своих повелителей под шкуркой животных. И как только в повествовании канцлера с кем-нибудь из этих сказочных созданий приключалась беда: проваливался бу-

рый Мишка в яму или же волк Изегрим попадал в капкан и тому подобное,—маленький Ганс разражался пронзительным дьявольским хохотом, так что я,—хотя его нрав и был мне знаком,—невольно при этом вздрагивал, а канцлер, который, ведь, так высоко ценил ум, смотрел печальными глазами на ребенка. Но все же он не давал этому духовному калеке почувствовать свое отвращение, а, наоборот, тем снисходительнее к нему относился и заботился о нем больше, чем о других. И мне доводилось слышать его вздохи,—что не было для него обычным,—когда я докладывал ему о новых злых проделках принца.

Воистину, канцлер любил королевских детей, как своих собственных, и не добром было ему за это заплачено.

Теперь я перехожу к тайне одного несправедливого дела; оно не значится, правда, ни в одной летописи, но в нем-то и нужно видеть тот заступ, при помощи которого были вырыты одна за другой могилы для сэра Томаса и короля Генриха».

Ганс-арбалетчик машинально стиснул свои сильные старые руки, как будто и они помогали рыть эти могилы.

V.

«Теперь, когда вы познакомились с домашним бытом короля Генриха,—продолжал Ганс-арбалет-

чик,—вы сразу видите, что он не мог найти покоя и отрады у госпожи Элленор; и поэтому в своих странствованиях и походах ему зачастую случалось высматривать себе кого-нибудь из дочерей своей страны по сю или по ту сторону моря.

Я не стану скрывать от вас, что мне доводилось сопровождать его в иных поездках, от которых я, как получивший первоначально духовное воспитание, охотно бы отказался, и которые мне делали порой затруднительной исповедь. Но примите в соображение, что у короля было мало надежных людей, я же своей верностью оберегал его, как на прямых, так и на окольных путях, от семейных раздоров, даже, быть может, от убийства из-за угла или яда.

Ибо госпожа Элленор, хотя сама и не блюла супружеской верности, была ревнива, как чорт. Она подкупала из людей короля Генриха решительно всех, кто только давал себя подкупать, поэтому все похождения короля на стороне были всегда ей известны, и она могла враждой и убийством преследовать своих соперниц. Не одну из них королю случалось заставить мертвой, а бывало и так, что они внезапно увядали в его сб'ятиях. Так что, по всей справедливости, он нуждался во мне, как в надежном слуге.

Однажды король очутился вместе с небольшой свитой в отдаленном лесу; по моим сведениям, он туда никогда раньше не заглядывал. Под ве-

чер сильная гроза, застигнувшая нас, разогнала охотников. Я же не покинул своего короля и нашел ему убежище в скалистой пещере, где мы и переждали непогоду. Когда гром стих, и уже последние капли дождя падали сквозь дубовую листву, я стал искать путь, по которому мы сюда добрались, но дорога оказалась загроможденной обломками перекутавшихся сучьев и обнажившихся корней, через которые перекашивались желтые потоки выступившего из берегов ручья. Я затрубил в рог, но ни откуда не было ответа. Тогда король приказал мне идти в ту сторону, где в лесу виднелись просветы; я так и сделал, прокладывая для него дорогу своим охотничьим мечом. Вскоре я увидел на стволах деревьев пурпурные отблески заката; я обернулся к королю, но тот с таким нетерпением и порывистостью устремился мимо меня навстречу алевшей заре, что я с трудом поспевал за ним.

Вдруг я увидел, что он в изумлении перед чем то замедлил шаги. Он остановился на опушке леса, под каплями, стекавшими с ветвей, и, защищая правой рукой глаза, глядел, не отрываясь, на заходящее солнце. Я поднялся на цыпочки и, вытянувшись, посмотрел через его плечо. То, что я увидел, показалось мне волшебным навождением, которое вот-вот развеется, как дым.

На золотисто-зеленой лесной лужайке стоял маленький дворец, в таком роде, какие мне прихо-

дилось видеть в королевстве Гренаде. Из-за высших гладких стен желтого камня виднелись небольшой голубоватый купол и стройные темные верхушки деревьев, которые я назвал бы кипарисами, если бы мы находились под небом более южным. Изящное, прочно построенное здание выглядело свежим и новым и играло в последних лучах солнца, как драгоценный камень.

Король, не проронив ни слова, направился быстрыми шагами к узким воротам и постучал рукояткой меча. Ничто не пошевелилось в ответ; тут и я принялся стучаться в деревянную дверь, скрытую глубоко в стенной нише. Тогда мне показалось, что за узкой щелью бокового окошечка промелькнуло и скрылось лицо какого-то старика, и вслед затем засовы бесшумно отодвинулись. Седой сакс открыл ворота и безмолвно, с трепетом, преклонил перед королем колени.

«Ты, Эшер?—обратился к нему сир Генрих и с нетерпеливым смехом продолжал:—Ты, ведь, не заставишь своего короля стоять перед дверьми. Я вымок и голоден. Чья это нарядная шкатулочка? канцлера? Или ты больше не состоишь на его службе? Клянусь св. Георгом, мне приходится думать, что мой суровый канцлер сошелся с лесной феей. Какая Мелузина наворожила ему на радость и отдых этот дворец? Живо, доложи обо мне ее фейной милости».

Тут и я узнал старика и вспомнил, что одна-

жды, в Лондоне, я видел его проезжающим в канцлерской свите мимо нашей мастерской. Он тогда бросился мне в глаза своим угрюмым видом и черными сросшимися под седыми волосами бровями. При дворе я с тех пор больше не встречал его в свите сэра Томаса.

Сакс взглянул на короля умоляющим взором и пробормотал, что это может стоить ему жизни.

«Мое королевское слово порукой тому, что этого не случится! Приказания, полученные тобою, не могут до меня относиться»,— настаивал король и переступил порог, приказав мне кивком головы остаться снаружи.

Эшер в своем крайнем потрясении не знал, как ему быть, покуда мой повелитель не отдал ему своего королевского приказа:

«Запри ворота и доложи своей госпоже о посещении и милости ее короля».

В ожидании я сел и прислонился спиной к стене. Мне было славно тут в вечерней прохладе, и отдых казался желанным. Приключение это меня потешало. Я посмеивался себе в бороду над последним торжественным обращением короля и в душе похваливал сира Генриха за то, что на этот раз он, считаясь со своим голодом и зрелыми годами, не остался в качестве поющего трубадура за воротами, а открыл коротко и ясно хозяйке маленького дворца свои королевские сан

и достоинство. Жалкий я глупец! Когда через некоторое время ворота снова распахнулись, и король Генрих вышел из маленького замка, наступила уже глубокая ночь, хотя это была лишь середина лета. Сакс с факелом в руке шел впереди нас по узкой тропинке, которая скоро привела к уединенной мызе, где нам дали лошадей и проводника.

С наступлением утренней зари, мы вехали в ворота замка, откуда король накануне отправился на охоту; когда я держал ему стремя, он подарил меня взглядом своих сияющих глаз и, зажав мне левой рукой рот, правой бросил мне пряжку, усыпанную драгоценными камнями, оторванную им от его шляпы.

Золото, которое было при нем в кошельке, он уже раньше высыпал все в руки старого Эшера.

Таково было начало. Но со времени солнцеворота этого года вплоть до листопада я часто сопровождал короля в те мирные рощи, а еще чаще совершал эту поездку один, чтобы предупредить о посещении моего господина или передать тайной возлюбленной знаки его пламенной любви—редкостные морские жемчужины и все, что только родит лоно земли. При этом я ее ни разу не видал, и нога моя не ступала на двор замка.

Только у входа встречался я со старым Эше-

ром, который, правда, каждый раз, завидя меня, жалобно вздыхал, но не отказывался повиноваться и не отвергал того, что перепадало на его долю из королевских рук.

Мне было строго заказано показываться на этих тропинках в течение дня, да места эти принадлежали к наиболее глухим из известных мне по моим раз'ездам. Ни одной живой души я там не встречал, разве что пасущуюся в предрассветных сумерках дичь, да раза два, когда мне случилось запоздать,—одиноких лесных бродяг.

Со времени того случая успела народиться новая луна. Однажды мой гнедой вывихнул себе ногу. Я любил это животное, как брата, и потому задержался с ним на мызе, покуда не успокоился вполне за него. Тогда я пешком пошел обратно. Я торопился. Был уже полный день, когда мне пришлось пересекать широкую зеленую лесную поляну, со всех сторон которой откликалось насмешливое эхо. На скалистой дороге, начинающейся в конце ее, послышался стук копыт. Я поспешил укрыться в кусты, лег на живот и стал всматриваться в направлении длинной луговой тропинки. И я увидел там арабского белого коня канцлера, с медлительной небрежностью управляемого его господином. Красивое животное радостно фыркало, втягивая своими раздувающимися ноздрями утренний воздух и лесные ароматы.

Господин мой, появление канцлера на этих зе-

ленных тропах не было для меня неожиданностью, я был подготовлен к тому, что рано или поздно, мне придется встретить его проезжающим по этим местам, ибо маленький нарядный дворец охранялся его слугой, самая мавританская постройка, чужеземные породы деревьев в дворцовом саду, непуганная дичь вокруг него,—все это давно сделало для меня решенным вопрос о его хозяине. Этим же путем и король с первого дня догадался, кто тут припрятал милое своему сердцу.

Я не желаю прикидываться лучшим, чем я есть. Меня забавляло, что этот сосуд премудрости, этот глубоко ученый человек также не чужд человеческих слабостей; и мысль, что король Генрих стал охотиться за его дичью,—единственно, кто мог на это отважиться,—заставляла меня про себя посмеиваться. К тому же, в любовных делах и сореязновании князя и воины берут верх над священниками и учеными—так водится от седой древности. Понятно, я не показал и виду перед королем Генрихом, что мне хоть что-либо известно,—ни хитрым намеком, ни веселым выражением лица; ибо, господин мой, в опасном деле обхождения слуги с королем, даже самым обходительным, существуют свои пределы. Наедине с самим собою я тешился этим приключением, относя его к королевским прихотям, но я впутался в ужасное и безрассудное дело, стоившее

королю короны, жизни, а душе его,—увы,—вечного блаженства.

Понимаете, господин мой, я полагал, что канцлер перенес к себе в туманную Англию из аквитанских виноградников спелую сладкую виноградную лозу; если он найдет, думал я, на ней испорченные ягоды, то он равнодушно, самое большее, с некоторой брезгливостью баловня, отстранит ее от себя. Мне уже рисовалось, как он, встретив в короле и покровителе соперника, с придворной, слегка презрительной вежливостью уступит ему дорогу.

Таким образом, в этой измене я не видел ни большого зла, ни опасности.

Со злорадным любопытством следил я из моей засады за медлительным всадником; он вернулся несколько дней тому назад из Кэнтербюри, где королевские попы задали ему работу, и проводил ночи в Виндзоре над запущенными во время его отсутствия делами. При равномерном мягком свете греческого светильника он неустомимо работал, так что король, пробуждаясь от беспокойного сна, мог видеть через двор этого человека, пекущегося о нем и его королевстве.

Но он ли это? Это ли замкнутый канцлер с его холодным, испытующим взором и печатью государственных забот на челе,—вопрошал я сам себя в изумлении,—или же это благочестивый рыцарь и паломник к святому Граалю? Вы, ведь,

знаете легенду о чаше с драгоценной кровью, спустившейся под сладкие звуки с неба на Монсальват. На бледных задумчивых чертах запечатлелась блаженная кротость, а лик его сиял, словно месяц и звезды. Его длинные одежды из лилового шелка ниспадали на круп серебристо-серого жеребца складками, напоминающими церковное облачение; конь его, привыкший гарцовать под огненные звуки бубен и литавр, сегодня медленно выступал по мягкой тропинке, красиво поднимая ноги, словно под звуки флейт, на которых играют притаившиеся лесные божества.

Я был возмущен тем благочестивым выражением лица, с которым этот мнимый святой ехал на любовное свидание,—совсем не так, как мой дерзкий, исполненный вождения, царственный повелитель,—и все же меня брала жалость к этой жертве обмана, проникнутой такой благочестивой любовью; внезапный страх охватил меня при мысли, что этот бледный человек, все существо которого мне всегда внушало несвойственную моему нраву робость, может исподтишка, но неслыханно жестоко выместить на короле и на мне поругание своей святыни.

В этот миг между тонкими бровями канцлера вновь показалась прямая глубокая складка государственного ума. Сэр Томас пришпорил своего коня, но, как мне показалось, не столько от нетерпения, сколько от возникшей в нем тревоги.

На небе опять родился серп молодого месяца, когда я вторично был застигнут наступающим днем на том же пути. Король около полуночи простился со своей любовницей,—ему предстояло путешествие в Нормандию,—но, достигнув опушки леса, он погнал меня назад с вестью, что жаждет еще раз ее обнять и завтра снова будет у нее.

Исполнив поручение, я возвращался усталый и сонный через сырой осенний лес. Мой жеребец сбивал на ходу желтые листья с ветвей, а меня в это время одолевали мрачные мысли о бренности всего земного, которые постоянно на меня находят при виде бледных осенников, разбросанных по лугам, как свечи.

Звонкое ржание совсем по близости вывело меня из задумчивости. На повороте тропинки я увидел привязанного к изгороди оседланного коня. Я соскакиваю, завожу лошадь в чашу и, снова бесшумно подкравшись, заглядываю через высокую изгородь. Там, внутри, я увидел худощавого малого, одетого в кольчугу, который разговаривал с недоверчиво смотревшим на него мызником. Сначала он стоял ко мне спиной, но посреди разговора повернул голову прямо в сторону дворца и открыл мне свой острый крючковатый профиль. Я узнал этого ястреба, возвратился к своей лошади и пустился оттуда вскачь. Не кто иной, как норманн Малерб, кружил над

заповедной рощей моего господина. Со времени похищения Хильды он был мне ненавистнее, чем тот стражник на картине страстей Христовых в монастыре Всех Святых, который плюет в лицо нашему Господу и Спасителю; с юных лет он возбуждал во мне особую ярость. Канцлер устранил недостойного из своей свиты, и молва гласила, что тот нашел себе место и снискал милость госпожи Элленор. Я увидел, к чему нам нужно быть готовыми. Открой госпожа Элленор тайный приют лесной феи,—и я бы ни гроша не поставил на карту за ее хрупкую жизнь!

Когда я доложил королю об этой недоброй встрече, вся кровь бросилась ему в лицо от гнева и любви.

«Мы должны отвести нашу маленькую даму за море,—произнес он, нахмутив брови,—и ни-мало не медля, покуда коршун не заклевал голубку».

Он приказал мне оседлать к вечеру трех лошадей и держать для него наготове простую одежду.

Уже стемнело, когда король, поздно освободившись от канцлера, вскочил на коня, набросив на себя плащ с капюшоном.

После часа быстрой езды, уже почти на полпути, он подозвал меня к себе и сказал мне, чтобы я не возвращался с ним на заре домой, а

оставался бы завтра в маленьком дворце и с наступлением ночи перевез бы госпожу, вместе со служанкой, в ближайший замок, откуда он уже переправит ее за море.

Мы живо добрались до места; для короля нашелся мягкий пуховик, а для меня, у подножия стены, пожестче—седло моей лошади, которой я предоставил пастись ночью, вместе с двумя другими, на свободе.

Когда утренняя заря позолотила влажные от тумана верхушки деревьев, и я только что изловил всех трех лошадей, король вышел из ворот. К руке его приникло прелестное создание, не старше пятнадцати лет; красивейшая девичья головка, какую я когда-либо встречал, склонилась к плечу короля, вперив в его опьяненные страстью глаза робкий и молящий взгляд. Черные, как вороново крыло, распущенные волосы, перехваченные золотым обручем, ниспадали до земли, рассыпаясь по нежным плечам и бедрам. Она была в слезах, король старался ободрить ее.

«Я оставлю здесь с тобой вот этого человека, моего верного слугу; он будет беречь тебя, как зеницу ока. Дай без страха посадить себя сегодня вечером на коня, так надо, я хочу этого, Грас *)! Еще немного,—и мы снова соединимся под теплым небом».

*) Французское имя, происходящее от латинского слова *gratia* „благодать“ и „грация“.

Он поцеловал ее, вскочил на коня и умчался, дитя же посылало ему вслед обеими руками прощальные приветы.

Вся кровь отлила у меня от сердца. Как острый меч, пронзила меня открывшаяся правда. Внемлите: не роскошную и честолюбивую красавицу отбил король у канцлера,—грех и горе,—он посягнул на невинное дитя Томаса Бекета! Знайте: Грация, как ее назвал король, была живым подобием канцлера, насколько юное неопытное личико может походить на охлажденное годами, умудренное жизнью лицо. Его благородный изгиб бровей, его темные грустные глаза, его серьезная улыбка на губах; его мягкость движений,—сомневаться было невозможно. «Благодать» *), слишком юная для сестры канцлера, была плотью от его плоти. Сир Генрих, христианский король, согрешил хуже язычника над незрелой душой и над едва созревшим телом.

Я, хоть и простой слуга, а был разгневан на своего господина; кулаки мои сжимались, словно тут было загублено мое собственное дитя. И я почувствовал глубокое огорчение и готов был плакать кровавыми слезами при мысли, что любимый мною король своим преступлением над невинностью навлекает на себя гнев Господа. Я пытался подыскать оправдание королю в его го-

*) См. предшествующее примечание.

рячей крови, в его всемогуществе, в приступах слепого безрассудства,—напрасно! В ушах моих неотступно звучало: господин твой свершил смертный грех. Глаза мои открылись: я узрел ангела-хранителя Грации, прячущего от горя и стыда свое лицо за белым платом, и мне уже слышался мощный глас трубы Страшного Суда.

Но я совладал с собою. Лошади, по обе стороны от меня, начали проявлять беспокойство; я взял их крепче за поводья, и это вывело меня из забытья.

Дочь канцлера скрылась в замке. Эшер остался один стоять на дороге, ведущей к воротам, и впервые за все время поманил меня кивком в свою маленькую сторожку, вделанную в толстую стену замка.

Он выглядел робким и несчастным и находился в таком растерянном состоянии духа, что забыл дать мне закусить и выпить, в чем я, после пережитого испуга, вправду, очень нуждался. Покуда я сам раздобывал себе хлеба и доставал из стенного шкапа кувшин с вином, Эшер, колеблясь, признался мне, что предуказанное моим колором похищение прекрасной Грации будет не лишено опасности. Он докладывал канцлеру, своему господину, по всей правде и совести, что норманн Малерб, вот уже несколько дней, как рыщет вокруг замка и что-то разнюхивает. Он,

Эшер, с часу на час ждет канцлера, который должен прибыть вместе с вооруженными людьми и оставить их за этими стенами для охраны.

«Лучше бы мне не поддаваться дьявольскому наущению,—убивался он в жалком раскаянии,—и сразу же донести моему господину о первом посещении твоего. Я заплатил бы за это телом, а теперь я продал и душу. Но откуда мне было набраться духу и послушаться высшей власти? Страх и смятение—предтечи твоего господина. Будь проклят час моего рождения! Всего, даже познания добра и зла, лишили нас эти норманны. Но и канцлер, мой господин, несет часть вины. Он, воплощенная мудрость, дал плохое воспитание Грации. Поверишь ли ты мне, лучник? Ни распятия, ни молитвенника, ни святого нет у нас в доме! Я не считаю жалкого св. Иосифа там, в стенном углублении, предназначенного для нас, для слуг. Канцлер приносил ребенку пергаменты, покрытые арабскими письменами, разные языческие сказки, сладким вымыслом прикрывающие жестокую жизнь мирскую, и дитя день и ночь потешалось этими красивыми небылицами. Монна Лиза, фряжская искусница играть на лютне, часто в душе обвиняла за это канцлера. Бедняжка! Она пыталась на коленях преградить путь королю, но он насыпал ей в пригоршни золота и отстранил ее. Для женщины твой господин такой же покори-

тель сердец, как для нас—суровый король, итак, совершилось безумие».

Покуда седой сакс изливался в боязливых и бесполезных жалобах, я успел мало-по-малу подкрепиться вином и пищей, и дух мой приободрился.

«Ганс,—сказал я сам себе,—не будь старой бабой, возьми себя в руки. Случилось несчастье, но ведь есть еще возможность, что все обернется к лучшему. Кто знает, не похитит ли королеву Элленор во цвете лет смерть или на старости лет какой-нибудь искатель приключений? Тогда король стал бы свободным и сделал бы свою Грацию королевой. Она ведь вдвойне царственного происхождения. Позаботься о сегодняшнем дне и постарайся переправить девушку за море». Знайте, господин мой, все это я говорил только себе в утешение. Но верьте мне, все мое добро, добытое трудом на королевской службе, мое искусство и половину моей крови дал бы я в этом деле в выкуп за короля и за себя самого с моим пособничеством. Этот грех такою тяжестью лег перед Господом на чашу весов, что грозил раздавить и господина, и слугу.

Сир Генрих употребил во зло доверие ребенка. Грация со стороны обоих родителей была языческой крови, а привыкшие к покорности арабские женщины падают перед скипетром во прах. Король для них—Бог и закон, выше отца и ма-

тери, и я понял, что Грация сохранит от отца злую тайну короля.

Как горячо и безрассудно должен был канцлер любить свою дочь, чтобы поселить ее здесь, так близко от себя и тем самым от норманского двора,—он, который отличался всегда такою осмотрительностью и предвидел грядущее! И как жестоко он в этом раскается!

Но я живо встряхнулся, чтобы принять необходимые меры.

Я взял три круглых хлеба под мышку и отвел своих обоих коней, стоявших за оградой на привязи, в близ лежащее лесистое ущелье, рядом с прозрачным ручьем, накормил и напоил их и привязал поводьями к двум соснам. Мне были приятны эти заботы о двух умных и верных товарищах, не ведающих ни предательства, ни греха.

Когда я снова выбрался из ущелья, меня напугал звук рога, раздавшийся с другой стороны леса; в ответ из-за зубцов, окружающих голубой купол, замахали белым платочком.

Поспешно пробежал я пространство, отделявшее меня от стен замка, и прокрался, прячась в их тени, к калитке, куда меня втащил за собою бледный, дрожащий Эшер. Три узких окошечка его сторожки выходили: одно наружу, другое под своды ворот, а третье во двор замка.

Из лесу высыпало около дюжины всадников. Впереди—канцлер, которого я узнал по его

стройному серебристому арабскому жеребцу и по осанистым движениям, которыми он им управлял. Он был в полном вооружении и с опущенным забралом. У ворот всадники спешили, и канцлер велел нескольким людям из своей свиты отвести лошадей в направлении мызы; остальные же последовали за ним через ворота,—отнюдь не к моему удовольствию,—и получили во дворе приказ разместиться со всех сторон за зубцами стен.

Я переменил место своего наблюдения, не выпуская канцлера из глаз; он выслушал Эшера, делавшего ему, повидимому, доклад, и затем исчез в жилой части замка. Ключ от моего убежища висел у пояса старого привратника, я очутился в западне и стал подкарауливать.

Прямо напротив меня, посредине двора, возвышалось здание с куполом; его охватывала полукругом терраса, обсаженная пышными вечно-зелеными кустарниками. Через некоторое время из высокой сводчатой двери вышел сэр Томас, ведя за руку Грацию, и опустился с дочерью на белую мраморную скамью возле водоема из камня с красными жилками; над чашей водоема перекрещивались, вздымаясь в воздухе, водяные струи. И я увидел так близко от себя озабоченное, но далекое от подозрений лицо канцлера и загадочное личико Грации, что невольно от-

кинул назад голову, хотя стена, через которую я подглядывал, была снаружи увита плющом.

Тут канцлер дал знак удалиться прислужнице, стоявшей с опущенными глазами у дверей,—это была, вероятно, та самая Монна Лиза, о достоинствах которой я только что слышал из уст Эшера. Некоторое время они сидели молча, и Грация, чтобы избежать отцовского взгляда, смотрела на жемчужные струи водоема.

Затем канцлер обратился к ней по-арабски:

«Дитя мое, ты здесь пробудешь еще немного дней, однако, не исключена возможность, что за этот короткий срок ты еще будешь испугана нападением. Но не страшись! Я оставляю при тебе десять храбрых людей, которые вполне будут в силах отстоять эти стены пред внезапным вражеским налетом. Тебе, моя робкая птишка, придется освоиться мало-по-малу с бряцанием оружия. Таков удел всякой владетельной дамы в наши дни произвола и беспутства.

«Настало время расстаться мне с тобой, моей отрадой, и выдать тебя замуж. Правда, не под этим туманным небом, а за морем, в солнечной стране, с более мягкими нравами, если будет возможно и звезда твоя приведет тебя туда,—неподалеку от твоих приемных родителей в Пуату. Ты ведь помнишь еще честного Каласа, про которого распускают слухи, будто он мавританской крови, потому что он знает по-арабски;

однако, он умеет читать свой «Отче наш» не хуже нас обоих. Года, ведь, еще нет, как старик, приведший тебя сюда, в слезах расстался с тобой.

«Не знаю, к добру ли он привез тебя сюда,— произнес сэр Томас, наморщив лоб.—Разве не в праве был я,—продолжал он, как бы извиняясь перед самим собой, так как Грас попрежнему молчала,—хоть ненадолго дать себе порадоваться на твою нетронутую молодость?

«Но вот истекает последний срок, который я мог себе дать, и настал час разлуки.

«Я не смею оставлять под угрозой эту милую головку,—и он положил свою тонкую руку на ее голову.

«Король уезжает завтра на материк, и я последую за ним через несколько дней. Ты же будешь сопровождать меня вместе со своими женщинами, скрытая густым покрывалом, и я не отпущу тебя до тех пор, покуда не отдам под защиту мужественного и благородного человека.

«Я думаю, что король, упившись своими нечистыми радостями, подарит мне один день для моих чистых. Уж этот король,—произнес он с презрительным выражением на губах, как будто видя его воочию перед собой».

Признаться, я был изумлен, слыша от него такие речи.

«Не пугайся,—продолжал он, ибо рука Грас, которую он держал в своих руках, вздрогнула.— Я умею выбирать людей, я найду, кому тебя доверить, и хотя бы я был далеко от тебя, все же моя охраняющая рука всегда будет простерта над тобой, ибо мое могущество велико во всех норманских землях.

«А в монастырь ты не хочешь укрыться? Нет,—говорят мне твои взгляды,—тебе нечего замаливать грехи; и ты пуждаешься в солнце и свете».

Не будь мудрый сэр Томас так занят собственными мыслями, он должен был бы заметить душевное смятение дочери; но глаза его оставались спокойными, и Грация, долго не находившая слов, произнесла, наконец, шопотом:

«С чьей же стороны, отец мой, угрожает мне здесь опасность?».

«С чьей?—повторил канцлер с легкой дрожью в голосе и, словно приняв, наконец, решение открыть своей дочери глаза на людские дела и злобу мира, он ответил без утайки:—Со стороны запятнанной королевы. Она ненавидит меня; соглядатаи сообщили ей о твоём существовании, а я не желаю, чтобы госпожа Элленор узнавала что-нибудь про тебя и занималась тобой,—одни ее мысли уже загрязняют тебя!»

Грация побледнела, из чего я заключил, что король Генрих благоразумно умолчал перед ней

о своей супруге, которою никак нельзя было похвастаться.

Но она овладела собой и снова прошептала:

«Я не всегда слышала от тебя такие речи, мой отец и повелитель. Разве у тебя не было решено привести меня пред очи твоего короля, и не превозносил ли ты его благоволение, как мило-стивого и величественного государя? И сира Ричарда ты также передо мною хвалил».

«Если я и говорил так,—ответил серьезно канцлер,—то говорил безрассудно, будучи ослеплен своим отцовским расположением к тебе. Теперь я стал умнее. Пусть те тщеславные речи развеются, как воздух, в котором они прозвучали. Ты не должна попасть ко двору; его зачумленное дыхание губительно для всякого чистого побега. Но в одном ты права: преклонение и послушание—наш долг перед королем.

Довольно, однако! Мой срок истек; отдайся, как дитя, без дальнейших размышлений моим заботам. Знаешь ли ты, как я тебя люблю? Безгранично! Ты моя единственная, ты для меня все».

И он коснулся ее лба нежным поцелуем.

Сэр Томас поднялся. Он обвел испытующим взглядом башенные зубцы, желая убедиться, всели стражи на своих местах,—и взгляд этот был таким пронизывающим, что я, в моей темной за-саде, соскользнул на пол, и до меня долетели

лишь слова: «Итак, через три дня. Будь готова. До свиданья!» и приказ начальнику отряда десяти: «Никого не впускай и не выпускай отсюда. Ты отвечаешь за это головой».

Когда я снова осторожно приподнялся, мраморная скамья уже опустела. Томас Бекет и его несчастное дитя исчезли.

Я содрогнулся, впервые увидев обманутым и обойденным человека, который был мне известен за всеведущего; ужас охватил меня при мысли, что отцовская вера в чистейшую невинность дочери послужила лишь на пользу дьяволу, помогла ослепить этого умнейшего человека и пронзить его непроницаемую броню отравленной стрелой.

Несколько времени спустя на двор вывели арабского коня канцлера; сэр Томас уехал, и ключ загромыхал в дверях моего убежища. Эшер уставился на меня своими беспомощными тусклыми глазами; увидев, что он совершенно потерял самообладание, я взял дальнейшее в свои руки.

«Пойди туда, в замок, и передай Монне Лизе приказ от имени ее короля: пусть она, под угрозой смертной казни, собирается со своей юной госпожей в дорогу и явится сегодня ночью, как только ты потушишь у себя фонарь, сюда, под своды ворот. Иди!».

Эшер возвратился с ответом, что фряжка го-

това исполнить приказание. Уже смеркалось, поэтому я велел старику зажечь у себя свет и, с мелом в руке, сесть за счетную доску,—на тот случай, если кому-нибудь из стражи, расхаживающей по зубцам противоположной стены, вздумается кинуть подозрительный взгляд на освещенные окна; затем я бросился на кровать Эшера, ибо после дневного утомления я нуждался в отдыхе. Однако, ноющий старик продолжал досаждать мне своей трусливой воркотней и надоедливыми самообличениями. Я приказал ему замолчать, но заснуть всетаки не мог. Бывают такие жестокие минуты: сердце сжимается от страха, а холодная мысль идет в то же время неумоимо и равнодушно своим путем. Так было и со мною: я спрашивал себя, по каким основаниям назвал канцлер свою дочь Грацией—«Благодатью»,—в честь ли благодатного обращения собственной матери, получившей это имя при крещении, или по языческой прихоти, ибо «Грация» означает не только небесную благодать,—да дарует ее Господь всем нам,—но точно также и нежнейший цвет человеческой прелести. Далее, пищу моим мыслям давало и то, что сэр Томас рассказывал Грации про своего любимца Ричарда и, значит, в своем, достойном порицания честолюбии, лелеял одно время мечту представить Грацию ко двору короля Генриха и добиться для нее царственных почестей.

На этом я заснул, и бог сновидений принялся морочить меня разными небылицами. Известно, ведь, что видеть во сне горе—это к радости, а видеть радость—к слезам. Мне снилось, будто я снова выхожу из лесу вслед за королем Генрихом; лицо его внезапно помолодело и превратилось в лицо его сына Ричарда. Неукротимый королевский сын принялся стучать в ворота лесного замка и разбил дверь ударами своего закованного кулака. Но верный Эшер смело преградил ему дорогу, а Монна Лиза, негодуя, проливала добродетельные слезы. Но вот из внутренних покоев замка вышел канцлер, держа Грацию за руку, и, взяв Ричарда за правую руку, повел обоих под своды деревьев. Но последние превратились в своды Виндзорских палат. Сияющие красотой жених и невеста склонились перед Генрихом и Эленор, родительски на них взиравшими, загремели трубы и литавры, я подбросил в воздух свою шапку и закричал: «Да здравствует принц Ричард и принцесса Грация!»

На этом я проснулся и услышал, как грешник Эшер бормочет с помертвелым лицом молитвы; подойдя к окну, я увидел свет в том покое замка, где Монна Лиза, с юной наложницей старого короля, поджидали, когда потухнет мой фонарь.

То была недобрая ночь, самая тяжелая в моей жизни. По небу проносились черные длинные об-

лака и своими влачащимися одеждами затеняли нарастающий серп луны. За зубчатой стеной только что замерли шаги дозорных. «У нас два коня, Эшер,—сказал я,—ты посадишь Монну Лизу на своего». Мы ощупью спустились по витой лестнице. Под воротами стояли две закутанных женщины; одна из них стройная, скрытая под густым покрывалом, вся сотрясалась от рыданий. Я осторожно отодвинул засов, прокрался через ворота и стал оглядываться вверх. Мне почудилось, будто на стене кто-то натягивает тетиву, но затем больше ничто не шелохнулось,—должно быть, я, ошибся.

Прошло столько времени, сколько нужно было, чтобы трижды прочесть «Отче наш»,—никогда в своей жизни не молился я горячее. Забыла собака, потом опять все стихло.

Тогда я вывел дрожащую Грацию, поднял ее на руки и побежал с ней во весь дух по направлению к лесу. Внезапно вокруг нас стало делаться все светлее и светлее. Ветер так стремительно погнал облако, что месяц выкатился из-за его хвоста.

Свист и жужжащий полет. Лучшее бы стрела попала в меня. Легкое создание на моих руках судорожно схватило меня за шею. Теплая кровь залила меня, а острые стрелы, пронзившей горло канцлерской дочери, оцарапало мне щеку. Придушенный хрип,—и Грации пришел конец.

Я передал тело девушки с рук на руки Монне Лизе, следовавшей за мной по пятам, и под пронзительные крики этой легкомысленной женщины добежал, в сопровождении задыхающегося Эшера, до лесу, преследуемый градом стрел.

Я вскочил на одного коня, Эшер—на другого. Мы помчались по темной лесной тропе и оба,—я и Эшер, шатавшийся в седле,—приникли головами к развевающимся гривам лошадей, чтобы нас не сбили обнаженные ветви, свисавшие чернее и ниже обыкновенного, словно оплакивая кого-то.

Так мы добрались благополучно до большой, залитой лунным светом прогалины, в конце которой дорога идет под гору. Здесь наши перепуганные кони понеслись, как ветер. Вдруг я слышу за собой раздирающий крик. Я оглядываюсь и вижу, как конь Эшера—обычно смирное животное—встает на дыбы, с поднявшейся гривой, и внезапно, в диком страхе, опрокидывается назад. Его напугала промелькнувшая светлая тень. Вероятно, это была самка белого оленя, из тех, что канцлер держал, ради их редкостной породы, в своих заповедных лесах. Возле груды полевых камней бился конь и лежал с искаженным лицом мертвец. Тут и у меня волосы поднялись дыбом. Я погнал своего коня, не озираясь более ни на издыхающую лошадь, ни на неверного, понесшего свою кару, слугу».

VI.

«Я направился в Дувр, намереваясь последовать за сиром Генрихом за море в Нормандию; но противные ветры задержали короля. Я застал его еще там, и час, в который я должен был поведать ему о случившемся несчастье, настал для меня раньше, чем я того ожидал, еще на английской земле.

«Король разразился тяжкими рыданиями и заперся в своей комнате. Я же улегся у порога моего короля, как издавна привык это делать в часы опасности. Там, за дверью, сон бежал очей короля, и я слышал, как господин мой ходил тяжелой поступью взад и вперед. В промежутках он изливался в жалобах и громко, неистово разговаривал сам с собой, так что можно было хорошо расслышать его прерываемую вздохами речь.

«Разве не была она моей отрадой,—жаловался он,—я бы отослал свою нежную овечку пастись на надежном пастбище. Но что мне поделать со злобным нравом моей королевы и глупостью моих слуг? Как бороться с коварной судьбой? Для меня и для канцлера,—для нас обоих на той лесной лужайке выросло великое сердечное горе... Но я напишу ему, каково мне сейчас на душе... Пусть узнает, что я больше прежнего стану осы-

пать его щедротами и милостями, и что он навсегда останется самым близким моему сердцу и моему трону».

К утру он поуспокоился; при первых лучах расположился за столом и принялся, казалось, за письмо, бормоча временами про себя то или иное выражение, прежде чем его написать. Мне было слышно, как он приложил под конец свою тяжелую печать.

Он позвал меня и передал мне письмо.

«Это ты передашь в собственные руки канцлера,—сказал он,—ищи его, покуда не найдешь».

Итак, король отправился за море, я же с моим письмом,—в Лондон,—и оно было для меня не легким бременем, можете мне верить. Хоть я и поступал, повинуюсь воле своего господина, тем не менее, на моей совести лежал тяжелый гнет, и мне было не на шутку страшно предстать перед канцлером; ибо отец Грации должен был к тому времени уже доискаться истинной причины ее гибели.

В Лондоне, куда я первым делом отправился на поиски канцлера, я его не нашел. Его городская челядь не могла или не хотела мне сказать, в котором из своих многочисленных замков он находится сейчас; да я, впрочем, и не нуждался в этом, так как и сам знал, где он.

На свежей лошади, среди бела дня,—что там было еще скрывать,—я поскакал по дороге, по

которой столько раз мне приходилось ездить в сумерках и при свете луны. Безоблачное небо сияло над желтыми верхушками дерев, просвечивая сквозь оголенные уже местами ветви.

Сердце молотом застучало в моей груди, когда показался маленький, играющий на солнце дворец, и я, соскочив с коня, увидел, что ворота, обычно столь крепко запертые, теперь стоят настежь. Не было привратника, который спросил бы меня, что мне нужно. Во дворе замка было тихо, только ветер пробежал по ветвям вечно-зеленых иноземных растений, да плещущие струи фонтана играли своими золотыми шарами.

Я приостановился, ища взглядом какого-нибудь живого существа. Тут я заметил женщину, которая молилась на коленях у садовой стены перед вделанным в нее образом святого. Она уткнулась лицом в руки и не заметила моего прихода. Но я резко схватил Монну Лизу за плечо. Она испуганно обернулась и уставилась на меня своими покрасневшими от слез глазами. Затем она обеими руками подала мне знак поскорее скрыться. Тут я показал ей письмо и потребовал, чтобы меня, как королевского посланца, незамедлительно провели к канцлеру.

Дрожа, но не противореча мне, поднялась она, идя передо мною, по ступеням к желтоватым колоннам здания с куполом, и отворила дверь:

«Она лежит в часовне, я ее убрала, как королеву», — сказала Монна Лиза робко и исчезла.

Я вступил в приветливый покой, имеющий круглую форму и освещаемый верхним светом. Вдоль стен шло мягкое сиденье, обитое драгоценной тканью, а посредине стояла вызолоченная клетка, в которой слышалось порханье и щебетанье. Пестрые, заморские птицы резвились там под карликовыми пальмами, но кругом не было ни единого человеческого существа, которое порадовалось бы на них.

Я прошел, ступая по пестрому рисунку мозаичного пола, к узкой мраморной лестнице, ведущей к полукруглой двери, отворил ее и робко откинул закрывающую ее изнутри парчевую завесу.

Передо мною предстало зрелище, от которого слова замерли на моих устах, и в груди сперло дыхание. Перед моими глазами открылся полумрак дворцовой часовни, но не было там ни распятия, ни неугасимой лампы, а вместо святой плащаницы под алтарем, перед ним в гробу лежала мертвая Грация, столь же богато украшенная. Поток света, лившийся через единственное, высоко расположенное окно, озарял ее неземную красоту. Голова ее покоилась на пурпурной подушке и была увенчана маленькой коронкой из сверкающих драгоценных камней. Нежное тело исчезало под тяжелыми застывшими

складками ее затканного золотом и жемчугом одеяния, распростертого за края гроба. Маленькие прозрачные руки были скрещены на груди и целомудренно придерживали черный покров ее волос, которые, ниспадая с головы и обрамляя нежные щеки, прикрывали обе раны на шее, и вновь соединялись под беломраморным крестом ее рук.

Но рядом с прелестным лицом умершей я увидел другой поникший лик, озаренный тем же солнечным лучом, безжизненной и мертвенней, чем у трупа,—лик, которого коснулась своим крылом смертная тоска, чтобы, свершив свое дело, снова отлететь от него. Это был канцлер; с всклокоченными волосами и в разодранных одеждах, лежал он подле гроба, схватившись руками за его край.

Царила беззвучная тишина, только шелест листьев долетал через открытое окно, да легкие тени листья играли на пурпурной подушке и на обоих ликах. Я не знаю, как случилось, что в этот жуткий час в голове моей промелькнуло воспоминание о Гренаде и мавританских нравах. Но я вам попросту рассказываю, как было дело. Так или иначе, явилось ли то внушением светлого или темного духа, только что-то побудило меня произнести по-арабски стих из Корана,—Господь Бог да не зачтет мне этого в вину,—вероятно, вид усопшей Грации напомнил мне рай не-

верных и их ангелов. Языческое же изречение гласило так: «Прекрасны они и любезны сердцу, да, они прекрасны, как лилии и гиацинты. Они опускают веки, и белизна их чистых ликов подобна белизне страусового яйца, сокрытого в песке».

Едва с уст моих слетело это изречение, как с лицом канцлера произошла перемена. По нему пробежало выражение радости и любви. Он медленно обернулся к тому, кто утешил его этим стихом из Корана.

Я воспользовался минутой, приблизился, преклонил колено и передал ему, с жутким страхом, королевское письмо. Прошло несколько времени, покуда этот отрешившийся от мира человек пришел в себя. Но вот он заметил трех леопардов королевской печати,—рука, в которую я вложил письмо, вздрогнула, словно ужаленная скорпионом, и со жгучей болью отшвырнула его от себя. На благородном изгибе его бровей появилась складка, как у человека, подвергающегося пытке и терпящего несказанные мученья. Его глаза, полные укоризны, остановились на мне, и в глубине их вспыхнуло пламя, жесткое и скорбное, как сам ад. Этот взгляд ударил по мне, как камень из пращи, душу мою охватил ужас, и я бежал оттуда, не испросив разрешения».

VP.

«Вот вы готовы испугаться, господин мой, и подумать, что с этого-то часа и возгорелась вражда между королем и Томасом Бекетом? Вы ошибетесь. Некоторое время они, правда, избегали встречаться друг с другом лицом к лицу, но это имело, казалось, свои основания и представлялось вполне естественным, так как король Генрих воевал тогда за морем с Капетингом *), а канцлер тем временем руководил в Англии государственными делами.

Ибо вера моего господина в мудрость и преданность его канцлера оставалась непоколебленной; да эту веру, незыблемую, как скала, вообще, невозможно было поколебать. И никогда сэр Томас в свою очередь, не принимал на себя с большей готовностью любого бремени работы и вражды, выросавшей для него из его ревностного служения на благо и величие его короля. Положение канцлера было в то время не из легких, ибо, отвоевывая королевские права, он затеял ссору и крепко сцепился с вышним норманским духовенством. Вам знакомы эти тяжбы, господин мой, ибо они распростра-

*) Капетингами назывались французские короли от их родоначальника Гугона Капета, избранного королем Франции в 987 году.

нены повсюду. В Англии они выросли из непомерных преимуществ, дарованных Завоевателем епископским кафедрам. Не одни лишь тяжбы попов между собою были там, как и в других местах, неподсудны королевским судам: даже и мирянину, понесшему ущерб от попа, приходилось искать с бритой макушки *) перед духовным судьей. И так как, говоря попросту, ни одна ворона не выклюет глаз другой, то поповские убийства и похищения женщин, не считая уже более мелких проступков, оставались безнаказанными, или, что еще хуже, навлекали на себя столь легкую кару, что это походило скорее на издевку, и ничем неумеряемый пыл этих бритых разгорался все более и более.

Все это вызывало в моем короле гнев, ибо в общественных делах он был человеком справедливым, и вот он сделал попытку обуздать своих попов. Нелегкая задача!

Кресло примаса и архиепископа Кентерберийского, власти которого Завоеватель некогда, из государственных соображений, подчинил все остальные английские епископства, занимал в то время упрямый норманн, которому его тонзура пришлось, как раз кстати, чтобы поднять

*) У католических священников выбривают на темени круглое место, величиной в монету или больше, в зависимости от значительности духовного сана. Это так называемая тонзура.

знамя мятежа против своего короля. Да и тогдашний святой отец в Риме,—говорят, его извлекли из монастыря, чтобы посадить на папский трон, и он всю свою жизнь мало придавал значения мирским делам и плохо в них разбирался,—стал на сторону норманского епископа, ибо он вообще не хотел поступаться никакими правами церкви. К нему-то канцлер Англии и обратился теперь с многочисленными посланиями, неотступно домогаясь у св. отца, тугого в данном случае на ухо, чтобы тот ввел в границы духовное судопроизводство, выродившееся в озорство.

Говорю вам, господин мой,—ибо мне известно, чью сторону держат каноники св. Феликса и Регулы,—никогда не писалось и во веки не будет написано ничего более справедливого и, вместе с тем, хитроумного против светской власти попов,—чем то, что выходило из-под гибкого пера канцлера.

Он не попортил дела ни одним оскорбительным словом или скучной фарисейской проповедью,—это не принято в государственных делах,—а наступал на простодушного святого отца лишь неопровержимыми доводами. Выражая иносказательно, он растворял одну ставню за другой, озаряя все ярким светом, так что, даже ребенок должен был уразуметь: скупость, корысть, грабеж, коварство, распутство и наси-

лие, свойственные попам короля Генриха,—это совсем не то, что чистое и безгрешное житие Спасителя и его двенадцати апостолов. С целью ли заглушить свое горе, но только канцлер мужественно повел нападение. Он заставил говорить за себя Священное Писание, Отцов Церкви, ученых правоведов, и его разительнейшим оружием было прекраснейшее евангельское изречение: «Царствие мое не от мира сего».

Я вижу на ваших устах вопрос, откуда мне известно, все это. Выслушайте. Когда в лагере получалась весть или послание канцлера, требовавшее подписи короля,—так как его именем и властью боролся канцлер с папой,—и когда под рукой не оказывалось никого из его клериков, то сир Генрих давал своему недостойному слуге прочитывать эти письма вслух. Ему было известно, что в молодости я пошел, было, по духовной дороге и сведущ в грамоте; его же собственные глаза, будучи еще зоркими и острыми на расстоянии, не годились более, чтобы разбирать написанное.

Он от души смеялся над меткими изображениями своего духовенства, набросанными рукою канцлера. «Заметь, Ганс,—говаривал он мне,—его забавляет таскать моих попов за волосы, ибо он неверующий философ и скрытый сарацин».

И меня при этом нередко разбирал смех, но не радостный,—не то, чтобы я не воздавал долж-

ного святому отцу, каков он есть, но мне казалось,—а это при прямодушном нраве моего господина от него совершенно ускользало,—что под этим искрящимся остроумием горит бездонное пламя карающего гнева и беспросветной скорби.

Господин мой, я не мог позабыть лица канцлера в дворцовой часовне!

Часто, когда, бывало, я вырезывал стрелу и давал простор своим мыслям, у меня наворачивался вопрос, будет ли сэр Томас когда-либо в состоянии снова сесть за королевский стол и обмениваться с сиром Генрихом шутивными речами, смешивая свое дыхание с дыханием короля. Последний, казалось, в этом не сомневался, считая, со свойственным ему бесстрашием, все прошлое делом конченным. Но в душе я бился об заклад против него, ибо сердце мое подсказывало мне, что это противоречило бы человеческой природе.

Мой король и повелитель, покончив с усобицей, пребывал в одном из своих норманских замков; и вот, однажды, мне случилось быть без дела,—со мною это редко бывает; я болтал на башне с одним из стражей, моим хорошим приятелем. Он на время передал мне свои обязанности, так как его милая поманила его к себе из огорода.

И вот, окидывая взором окрестность, я вижу на одном из близких холмов небольшой конный

отряд, спускающийся по извилистой дороге. Впереди всадник, закованный в сверкающие на вечернем солнце доспехи и трубящий в рог. Это был Львиное Сердце. Вслед за ним ехали верхами три его брата и конная свита. Тут я замечаю нечто ослепительно белое—коня канцлера. Насмешливый хохот от сознания моей недостижимости и безопасности на башне одолевает меня. И, схватив большой сторожевой рог, я отвечаю на призыв сира Ричарда, а также приветствую канцлера, правда, с помощью уже моего природного голоса, неслышного на такое расстояние. «Сэр Томас, в ваших жилах течет кровь не мужчины и не рыцаря. Добро пожаловать! Горя мало мне, если моему королю вздумается поджарить вас живьем и сделать из вас святого Лоренца» *). При виде белого коня мне показалось, что ни господину, ни слуге нечего уже больше опасаться со стороны канцлера и что даже само небо отступится от мести за этого трусливого человека.

Я поспешил сойти вниз и стал наблюдать за в'езжающими, держась, по возможности, в стороне.

Сэр Томас не изменился,—его движения были столь же плавными, а одежды столь же пышны-

*) Святой Лаврентий, по церковному преданию, во время гонения на христиан в 258 году был изжарен живьем на железной решетке.

ми, как и прежде. Король бросился со свойственной ему горячностью навстречу сыновьям и своему канцлеру; он, кажется, стосковался по нем еще более, чем по своим детям. Сэр Томас сумел избавить своего короля от всякого смущения и предупредить внешние знаки раскаяния; он склонился перед ним с выражением глубокого почтения и повел затем речь о юношах, преисполненную заботливости и доброжелательства, но при этом мягко и спокойно прибавил, что недостаток времени, все возрастающие государственные заботы, раз'езды и участие в посольствах, а к тому же неведомая ему доселе усталость не позволяют ему далее лично руководить воспитанием принцев; он приставит к ним, в качестве учителей, знаменитых мужей, которые без труда сумеют его заменить.

Король стоял пораженный, а дети его окружили канцлера и стали обнимать его со слезами, прося и умоляя от них не отдаляться. Только маленький Ганс соорудил довольную рожу. Тут и король вместе с мальчиками стал просить сэра Томаса не отстранять детей от себя. Красноречивые уста канцлера повторили с новыми изящными оборотами его отказ, а темные глаза его были в то же время устремлены на короля, как будто говоря: «Жестокий человек, ты отнял у меня моего ребенка и требуешь от меня забот о твоих детях». Я не знаю, прочел ли король

Генрих в этом взгляде правду, но только он перестал уговаривать канцлера.

С того часа начались раздоры между четырьмя королевскими сыновьями, и уж канцлер больше не примирял их своей любовью, ибо они стали ему безразличны и он предоставил их собственным побуждениям.

Я вам уже рассказывал, что я обучал всех четырех юношей стрельбе из лука и арбалета. Мне был дан строгий наказ никогда не отлучаться при этом от них и не давать им на руки арбалета: при разности их склада и отношениях далеко не братских, приходилось быть на чеку, как бы они не бросились друг на друга с оружием в руках.

Однажды, когда я проходил с четырьмя арбалетами на задний двор замка к четверем принцам, я услышал уже издали, вперемежку с собачьим лаем, шум и воинственные крики. Я застал принцев, так крепко вцепившихся друг в друга, что мне стоило труда их разнять. Львиное Сердце правой рукой схватил принца Готфрида за горло, а левой вцепился в завитые волосы принца Генриха и здорово тряс их обоих. Маленький Ганс, державший сторону старших, вцепился Ричарду, в свою очередь, в спину и кусал ему шею. Я схватил сначала младшего, эту дикую кошку, а затем высвободил принцев

Генриха и Готфрида из воинственных кулаков Льюиноного Сердца.

Тогда принц Ричард в пламенном гневѣ набросился на меня и закричал: «Чорт побери, арбалетчик, что же, ты хочешь лишить нас нашего наследственного права?» «Какого права, сир?»—спросил я, озадаченный. «Ненавидеть друг друга!—воскликнул он.—Этим ни один из нас не поступится». Слова этого недоросля вызвали во мнѣ глубокое огорчение, я отозвал его в сторону и стал по христиански внушать ему, как сладостно, когда братья живут между собою в согласии. Принц Ричард разразился бурными рыданиями и, всхлипывая, произнес: «Он на меня сегодня даже не взглянул!» Я догадался, что он имеет в виду сэра Томаса. «Если канцлер и меньше занимается вами, то это из-за неотложных государственных дел, в угоду и на пользу вашему батюшке». Тут юный Ричард упрямо покачал головою и, озарив меня взглядом своих больших голубых глаз, воскликнул: «Ты лжешь, арбалетчик! Канцлер не любит отца!»

Все четверо не только грызлись между собою, но, увы, перестали оказывать должное уважение королевскому достоинству своего отца. Я помню еще, как меня ножом резнуло по сердцу то, что я увидел и услышал, когда мне однажды, пришлось сопровождать моего короля и повелителя в его опочивальню. Голова его бы-

ла переутомлена работой над государственными делами, а тело—охотой на оленей: он поник над вечерним питьем отяжелевшей головой и с храпом уронил ее на лежавшие на столе руки.

По пути в опочивальню в проходе нам повстречались двое худших из его сыновей,—старший и младший. И вот, маленький Ганс,—будь отец в ясном сознании, он запрятался бы от него подальше,—тут набрался дерзости и, покачиваясь, будто в насмешку над пьяным, прошелся следом за королем; другой же, глупый щеголь, отвернулся от своего родителя с высокомерным «фу!»

Управившись с моим господином, я застал принца Генриха еще там же в проходе. Я крепко напустился на него, назвал его черным хамом *) и пригрозил пожаловаться на него канцлеру. «Сэр Томас презирает отца,—возразил мальчик.—Как может берберийский жеребец дружить со щетинистым кабаном?» В ужасе я зажал ему рот рукой, он же, откинув с лица длинные светлые кудри, увернулся от меня со звонким смехом. Приходилось только удивляться тому тонкому чутью, с которым неопытные дети угадывают скрытые движения души,—ибо, правду говоря,—уже никак не сэр Томас давал заметить

*) Хам—один из сыновей Ноя; по библейскому преданию, родоначальник негров, населяющих Африку.

свое отвращение к королю, и не было случая, чтобы он не выказал готовности воздать королю должное почтение.

Каждый вечер этот незаменимый человек сидел за столом короля и развлекал его тонкой игрой своей беседы. Я, как сейчас, вижу, как он, улыбаясь, сидит, откинувшись в своем кресле, а довольный король, внимательно слушая, ловит каждое движение его губ. Я стоял за креслом моего господина и созерцал, порой с затаенным ужасом, этот бестелесный лик, равно бледный, как при огне, так и при дневном свете; и никогда, даже среди оживленного пиршественного веселья, для меня не мог уже изгладиться из черт канцлера тот образ смерти, что глянул на меня своими застывшими очами в тот раз, когда голова сэра Томаса покоилась рядом с головой Грас на гробовой подушке. Видали ли вы картину, вывезенную из Византии и хранимую монахами Шафгаузенского монастыря Всех Святых, как величайшее сокровище? Это мертвый Спаситель со впавшими глазами и закрытыми веками; но если вглядываться в него дольше, то, в силу ухищрений рисунка и распределения теней, он меняет выражение и начинает печально смотреть на вас своими скорбными очами. Несчастное художество, господин мой, ибо живописец должен ясно, а не двусмысленно вести свой рисунок. С канцлером дело обстояло как раз наоборот. Ко-

гда я дольше всматривался в его лицо в то время, как он хранил молчание, то мне чудилось, что веки его опускались, и что за столом, вместе с королем, сидит мертвец.

Нужно думать, хотя я и не уверен в этом, господин мой, что король в те дни высказался перед канцлером о горе, которое он, против своей воли, причинил ему. Хотя бы и в немногих словах, в прикрытых выражениях, он дал, повидимому, ему понять свою скорбь и исповедался перед ним. Я полагаю, что он хотел перевалить давившую его тяжесть со своих плеч на эти вот мои плечи, в чем я не стану его упрекать, ибо таков уже ход вещей. Опасаться же мне было нечего. Канцлер был слишком умен, чтобы смешивать орудие с рукой, которая его направляла, и слишком высок, чтобы снизить до мести слуге.

Поймите меня. Сир Генрих мог жаловаться и сваливать вину на игру случая и на меня во всем том, что касалось горькой смерти ребенка; похищение же и плотоугодие он не ставил себе в большой грех, ибо в подобных вещах для него не существовало права и закона; к тому же в ту пору он легко переносил содеянное, ибо наш общий Судья еще не отмерил ему за это полной мерой.

В те дни случилось, однажды, что канцлер, под вечер проследовал верхом за королем на

охоту, и высокие особы расположились под дубом, отбрасывавшим широкую тень. Я сидел на солнечной стороне ствола и чесал у охотничьей собаки за ушами. Король знал мою надежность и привык ни в чем передо мною не стесняться; а сэр Томас не обращал на меня внимания; когда же ему случалось дарить меня взглядом, то этот взгляд не был недружелюбным, ибо тот стих из Корана, произнесенный мною у гроба Грации, пришелся ему по нраву и был ему приятен. Таким-то образом, я сделался свидетелем необыкновенного разговора, кажущегося уму человеческому невероятным, но в достоверности и дословной точности которого так же нельзя сомневаться, как в том вот, что я здесь сижу с вами.

Обе высокие особы беседовали о письме французского короля, вынутом сэром Томасом из кармана его одежды. Дело в том, что канцлер состоял в тайной переписке с Капетингом в Париже: у того как раз умер его канцлер, аббат Сугериус, и он, чтобы найти заместителя, охотно бы отбил сэра Томаса, как умнейшего человека во всем свете, у короля и завлек бы его к себе на службу. Тот сделал вид, что идет Капетингу навстречу и, воспользовавшись этой, неожиданно подвернувшейся ему под руки личиной, выведал коротким и верным путем все, что ему необходимо было знать по части за-

мыслов чужого короля по отношению к его собственному и к норманской короне.

В письме, переданном канцлером сиру Генриху, король Франции, повидимому, снова сильно наседали на сэра Томаса, уговаривая его перейти к себе на службу, ибо мой господин потешался над этим письмом с истинно-королевской веселостью.

«Смотри-ка, смотри-ка,—издевался он,—десять тысяч фунтов предлагает он тебе! Не дешево готов он за это заплатить! Но не бывает тому, мой французский братец! Такого бесценного человека я ни за что не отпущу от себя!»

И он с нежностью положил руку на плечо своего любимца. Затем он шутливо прибавил с дерзкой веселостью:

«Если у тебя на сердце есть что-нибудь против меня, мой Томас, и если ты хочешь отплатить мне за это, храбрый человек, не подвергая своего дела и жизни опасности,—ну, так ладно, это можно устроить! Завтра я пошлю тебя по делам, тебе известным, в Париж, к тому, кто имеет на тебя виды. Посмотрим, удастся ли ему соблазнить тебя и украсть лъстивыми словами твою честь!»

Не слишком дивитесь на эти безрассудные шутки и на дерзкую уверенность короля. Поглядели бы вы на них обоих, как они там рядом сидели,—на мощное тело и львиную голову

одного, и на изящный стан и мягкие черты другого,—вам бы стало это понятным. Затем наступило молчание. Я полагал, что канцлер должен с горечью воспринять ту легкомысленную жестокость, с которой король, столь глубоко пред ним виноватый, ставил ему на вид его врожденную уступчивость и покорность, служившие, ведь, однако, лишь на пользу королевскому величию. Но сэр Томас через некоторое время дал ответ, ничем не выказывая досады, в спокойных и,—как бы это выразиться,—философских словах:

«Что бы ни лежало у меня против тебя на сердце,—много ли, мало ли,—ты имеешь основание, мой повелитель, не сомневаться в моей преданности. Я не настолько зол и близорук и слишком мало искатель приключений, чтобы сделаться твоим предателем, но все же твоя шутка с ее мудрым смыслом задела меня за больное место, ибо тебе ведомы несовершенство моей природы и мой нрав, созданный для унижительной покорности. Давняя ли привычка службы королю или же особенности моего племени и крови, но только я не в состоянии оказывать противодействия помазаннику и склоняюсь пред высоким челом короля,—и так как ты находишься в столь добром настроении и благорасположен к своему слуге, то он осмеливается в этом дружеском уединении дать тебе совет: «никогда не выпускай меня из своих рук, чтобы я не попал в руки

другого государя, более могущественного, чем ты, ибо я, с моей постыдной уступчивостью, вынужден был бы во всем ему повиноваться и исполнять его волю, даже во зло тебе, о, король Англии!.. Но слова мои безрассудны... Где же король более могущественный, чем ты? Какая власть может поспорить с твоей без ущерба и потери для себя? Взгляни,—нет такого, кто бы мог привлечь тебя к суду!.. Итак, речь моя безрассудна, и я говорю о чем-то несуществующем, о грёзе, о призраке, о тени, о ничто...»

Король, повидимому, придавал этим словам не более значения, чем канцлер. После некоторого размышления он зевнул, как будто выслушав какие-то ненужные и неприятные соображения, и приказал подать ему кубок вина. Да и я не мог взять в толк слов канцлера и лишь позднее уяснил себе, что, ведь, этот, втайне на смерть уязвленный, человек говорил в скрытых, смутных выражениях о незримой медлительно карающей деснице Божией.

Сир Генрих поднял свой кубок и залюбовался на игру золотого рейнского вина, словно улаждая свой дух видом прозрачной влаги; он залпом осушил кубок с крепким вином и расхохотался так, что слезы показались у него на глазах.

«Нет, каков ты, мой Томас,—произнес он заплетающимся языком, ибо он основательно утодил свою жажду, и вино ударило ему в голову

—Клянусь честью, я не знаю, что говорю, но меня разбивает не малая охота повесить тебе, моя козочка, на шею церковный колокольчик и, во имя дьявола, одним толчком впахнуть тебя на кресло епископа Кентерберийского. Восседай себе там и изрекай свои пророчества во зло святому отцу».

Канцлер поднялся с непривычной для него быстротой.

«Под этим дубом нехорошо долго оставаться. Здесь в древние времена творились, чего доброго, колдовские дела. Тень его туманит голову».

На этом разговор оборвался.

Но мой господин, несмотря на свое опьянение, не совсем попал впросак, высказав мнение, что канцлер предается по временам глубокомысленным, необычайным соображениям. Я сам могу кое-что об этом порассказать. В прихожей, где я часто, в ожидании моего господина, просиживал часы и где также и канцлеру случалось, в глубоком раздумьи, ходить взад и вперед, не замечая меня,—в одном из темных углов висело большое деревянное распятие,—грубая, убогая работа, но голова Распятого носила трогательные черты.

У короля это распятие было в большой чести, так как его предок Вильгельм-Завоеватель, об-

ратившись к нему с пламенной молитвой накануне битвы при Гастингсе, одержал с его помощью победу. Канцлер избегал обычно останавливать свой избалованный взгляд на этом произведении, ибо его отвращал вид льющейся крови и все вообще безобразное. Но в то же время мне случалось иной раз с изумлением слышать, как он ведет беседу с потемневшим распятием. До меня явственно долетал шопот его на арабском языке. Я порадовался, что он обращается к надежному утешителю, хотя мне при этом становилось почти жутко на душе; ибо, господин мой, я слышал в таких случаях и слишком мало, и слишком много, вещи, которые мне неохота повторять; так как, если они и не нанесут ущерба вашей душе, то все же могут досадить вашему благочестию; я не мог бы сказать, в какой мере сэр Томас разделался со своими мавританскими замашками и взывает ли он, подобно нам, к Преславному, распятому на кресте, как к своему Господу Богу. Я улавливал лишь отдельные прерывистые вздохи, бессвязные слова на этом языке, постепенно стирающемся из моей памяти,—слова, то восхищавшие, то пугавшие меня. Проникновенно и со скорбью беседовал он с безмолвным Распятием, но как-то нечестиво и будто с ровней,—так мне казалось.

Итак, однажды случилось, что канцлер снова остановился перед изображением, не замечая мо-

его присутствия, ибо я тихо сидел на скамейке в одном из углов просторного покоя и ничем не давал о себе знать.

«Ты тоже страдал,—так шептал он,—и терпел такие же жестокие муки, как вот здесь, на этом кресте... Зачем? Зачем?.. Чтобы принять на себя грех мира, как написано?.. Что искупил ты, небесная душа?.. Мир и в человеках благоволение хотел ты принести... но взгляни, земля эта все еще дымит и смердит от крови и мерзости... и виновного, и невинного убивают, как и до тебя. Они тебя били, оплевывали, мучили... Ты же пребывал в непоколебимой любви и на кресте молился за своих убийц... Отгони коршуна неутолимой скорби, терзающего мое сердце... Дабы я пошел по твоим стопам... Я несчастнейший и самый жалкий из смертных. Видишь, я твой и не могу отступить от тебя, ты многотерпеливый царь всего поруганного и распинаемого человечества...»

Едва слышная беседа канцлера с распятием продолжалась еще некоторое время, затем он медленно обернулся и открыл мое присутствие на скамье. Я сделал вид, что ничуть не удивлен, и решил храбро солгать, в случае, если он спросит меня, не подслушал ли я его речей.

Но он спокойными шагами приблизился ко мне, чуть заметно улыбаясь:

«Сын Иафета,—обратился он ко мне:—ты жил среди детей Сима и знаешь: они не верят тому, что Всевышний позволил распять своего единственного сына. Как убедишь ты их в противном?»

Я твердо посмотрел на канцлера и бесстрашно ответил: «Мой Спаситель облобызал предателя Иуду и простил своим мучителям; этого же простой человек не может сделать, ибо сие противно природе и крови».

Сэр Томас слегка кивнул утвердительно головой.

«Ты правильно сказал,—промолвил он,—это тяжело и невозможно».

Но если не все слова канцлера бывали истинно-христианскими, то зато дела его становились таковыми все более и более. В эти дни казалось, что сэр Томас, словно утомившись своим блеском, желает сбросить с себя все великолепие и, будучи сам человеком с разбитым сердцем и утратившим душевный мир, хочет залечивать раны и вносить с собою мир, поскольку это в его власти. Но он это делал с мудрой осмотрительностью, дабы не давать королю и норманнам повода насмехаться над ним и не заронить в них подозрений. Ему не трудно было убедить короля, что благоразумнее не обременять сверх меры саксов, его подданных, и не доводить их до отчаяния и что выгоднее царить над ними во об-

разе благостного существа, более великодушно-го, нежели его норманны, притеснявшие, как им вздумается, своих саксонских холопов. Таким путем он имел возможность облегчить положение саксонского народа с помощью королевских законов, действуя при этом не вызываяще и так, что это не бросалось в глаза, а, напротив, с осмотрительностью и в тиши, дабы не дразнить норманнов. Понимаете, он перевернул ношу на спине вьючного животного, не убавляя ее тяжести, и позаботился лишь о том, чтобы ремни не слишком врезались в тело.

Но и норманнам оказывал он разные услуги и удвоил по отношению к ним свою щедрость. Он осыпал их милостями и царскими подарками и сглаживал их личные раздоры мудрыми приговорами. Когда, бывало, разгоралась вражда между двумя могущественными норманнами, он выступал миротворцем между ними.

«Кто я такой,—говаривал он тогда,—чтобы вмешиваться в дела сильных? Слуга своего господина, желающий уберечь для него опору его трона». И оба врага уходили от него примиренными и не уязвленными в своей гордости.

Если бы только сэр Фоكونбридж внял предостережению. Он завидовал канцлеру из-за благоволения к нему обоих королей—сира Генриха и Капетинга—и вел против него игру не только обнаженным мечом но также и тайной клеветой.

Он подделал почерк канцлера в письмах к королю Франции, создавая втихомолку впечатление государственной измены канцлера в то время, как сам он строил опасные козни при французском дворе.

Но сэр Томас разгадал его игру и проник в его намерения. Он пригласил, ничего не говоря королю и не беспокоя его по этому делу, сэра Фоконбриджа к себе,—я сам относил письмо,—и в спокойных словах и бесспорных доказательствах изложил перед ним всю правду. Но так как он, не ища мести, отпустил своего врага, вместо того, чтобы уничтожить его одним ударом, как мог это сделать, то норманн стал считать его за осторожного труса, боящегося решительных действий, и повел себя в дальнейшем вдвойне уверенно и дерзко,—покуда в открытом вероломстве он не посягнул на права короны и для него не пришлось соорудить плахи.

Так-то потерял сэр Фоконбридж, предки которого прибыли вместе с Завоевателем, свое наследие и свою голову по причине долготерпения и кротости канцлера.

Когда впоследствии сэр Томас рассказал королю, что он с самого начала, зная о дерзких замыслах мятежного барона, не выпускал его из глаз, и король спросил его, почему же он ранее не сорвал личины с предателя, канцлер ответил: «О, государь, к чему?.. Невидимая рука упра-

влияет действиями каждого человека, всякая вещь созревает в свое время, и никому не избежать своего часа».

VIII.

«Однажды король, вместе со своим канцлером, занимались государственными делами. Это было в одном из замков в Нормандии. По приказанию моего государя, я наполнил кубок его любимым легким пенящимся вином, а канцлер выкладывал в это время перед ним содержимое сумки нарочного, только что прибывшего из Англии. Письмо, к которому была привешена кентерберийская печать, он оставил напоследок и, вскрывая его перед королем, промолвил с обычным для него спокойствием:

«Примас кентерберийский скончался в начале истекшей недели, мой высокий повелитель».

Сир Генрих не обнаружил большого удивления. Не давая никакого ответа, он остановил свой благосклонный взгляд на канцлере.

«Он прихварывал уже давно,—продолжал сэр Томас,—но все же я не думал, что конец его так близок. Теперь для тебя и для английской государственной власти пробил решительный час, настала подходящая пора вскрыть и исцелить опасный нарыв на теле твоего государства—духовный суд. Если мой государь решится

при замещении этой опасной должности на смелый выбор, то он приблизится к исполнению своих королевских пожеланий».

Король лукаво подмигнул—оттого ли, что он, как всегда, восхищен был мудростью своего канцлера или оттого, что на этот раз он надеялся превзойти и озадачить его своею...

Сэр Томас заметил хитрое выражение лица короля и спокойно продолжал наблюдать за ним.

«К тому же, мы не могли бы желать себе лучшего святого отца, чем тот, которого они возвели несколько месяцев тому назад на папский престол. У него есть страсть, позволяющая нам близко подойти к нему, как к человеку. С ученым рвением собирает и изучает он монеты, но удивительное дело: в то время, как он довольствуется двумя-тремя хорошо сохранившимися изображениями римских императоров,—твоих золотых, о, государь, ему все мало. Сотнями, тысячами жаждет он иметь их,—ведь они носят на себе твое высокое изображение, радующее его сердце в качестве изображения верного сына церкви».

Сир Генрих покатывался со смеху во время издевательских слов канцлера, произнесенных им с тем серьезным и печальным выражением, с каким он вообще имел обыкновение шутить.

«Но кем заместит мой государь кресло при-
маса? — продолжал канцлер: — таким-то еписко-
пом или таким-то аббатом? Я не уверен боль-
ше в именах и ни за что на свете не хотел бы
даже в мелочах сказать вам неправды. Оба
они подходят для целей моего государя, но, по-
жалуй, что аббат более пригоден, ибо он по-
рочнее».

«Таким образом, с ним легче будет иметь
дело», — подхватил король мысль канцлера.

«Епископ был бы не менее покладистым, — воз-
разил сэр Томас, — преимущество аббата в дру-
гом; я полагаю, что пойду в своих словах лишь
навстречу твоей мудрости, если взгляну в лицо
опасности, таящейся в твоей политике. Тебе из-
вестно, государь, как и почему Завоеватель,
твой высокий и славный предок, облек англий-
ские епископства судебной властью не только в
отношения клирика, но и мирян в их тяжбах с
клериками, — что обессиливает и разрушает го-
сударство. В свое время это было полезно, так
как первые епископы при Завоевателе были его
ставленниками, теперь же это вредно и невыно-
симо, ибо всяческое своеволие твоих норманнов
прячется под защиту епископского жезла, и лю-
бой мятежник против твоего величества дает се-
бе выбрать тонзуру, чтобы безнаказанно изде-
ваться над громами твоего правосудия».

Мой король и повелитель сжал в кулак руку,

лежавшую на ручке кресла, ибо он был другом порядка и справедливости.

«От твоей мудрости не остается сокрытым,— заметил сэр Томас,—почему права церкви, даже добытые неправедными путями, с таким трудом поддаются урезыванию и упразднению, ибо церковь—существо двойственное, состоящее из тела и души. Тело—это сонм бритых и безбрачных людей, несколько тысяч соборов и монастырей, собрание обычаев, обетов и притязаний, основанных на баснях и подлогах,—а душа церкви—это добродетель, скромность, милосердие, целомудрие,—король сделал произвольное движение и повел бровями,—все, чему учил Тот, Кого они распяли».

Вы должны знать, господин Буркхард, что канцлер никогда не называл Спасителя ни одним из его пресвятых наименований, а постоянно лишь «Тот». Я полагаю, что его языческая кровь противилась произнесению Пресвятого имени.

«Народ же, государь, не умеет отделять сосуд от содержимого. Если тебе придется иметь дело с примасом, который в силу своей добродетели будет властвовать над душами англичан, то тебе не отнять у него ни крупницы его прав и преимуществ. Поэтому выбери лучше явного грешника, такого неоспоримо порочного, как наш аббат».

Так продолжал пересказывать речь канцлера арбалетчик, бывший в ударе. Но Буркхард наклонился к нему и дернул его за рукав.

— Арбалетчик,—прервал он его,—я считаю тебя за человека правдивого, но мне верится с трудом, чтобы нынешний сочлен церкви торжествующей, хотя бы и до своего обращения, мог так оскорбительно отзываться о церкви, воинствующей здесь, на земле, и подавать королю такой безбожный совет. Ты ведь знаешь, я не жалую новоявленного святого, но что слишком, то слишком,—это уж ты прибавил от себя.

«Господин мой,—возразил Ганс со злой усмешкой из-под своей седой бороды,—возможно, что канцлер в тот раз высказался не в точно таких выражениях, но дух его слов был именно таков,—могу вас уверить! Поймите меня: это бывало не один, а сотни раз; в качестве государственного человека, он часто касался упомянутого вопроса перед моим королем, однако, не исключена возможность, что в моем рассказе есть крупница собственно моего, ибо, к сожалению, все мы начинаем петь в один голос, как скоро речь коснется нравов духовенства,—само собою разумеется, с подобающей оговоркой для вашего монастыря и тем паче для вашей собственной досточтимой особы.

Но допустим даже, что мой рассказ несколько сбился с пути в сторону недостоверного.

Зато с этой минуты он будет верен и неопровержим, как Евангелие. Ибо то, что говорилось дальше, врезалось в мою память, подобно римской надписи на упавшем верстовом камне, самые обломки которого сохраняют на себе неизгладимо высеченные письма. Клянусь милостью Богоматери, я не лгу и говорю правду. Но на чем я остановился, досточтимый господин мой, когда вы меня перебили?»

— На твоём порочном аббате,—ответил старик, все ещё несколько раздражённый.

«Не сомневайтесь в том, что канцлер его посоветовал королю»,—продолжал с горячностью Ганс.

«Мой государь,—сказал сэр Томас,—этому животному в образе человеческом не удастся отстоять прав своего епископата в качестве прав божеских. Ты вырвешь их у него из рук и тогда—долгой его!»

Эти слова с презрением сорвались с его тонких губ, и затем он прибавил: «Несчастливцев сам уготовит себе гибель. Ему мало, государь, как другим твоим епископам иметь любовниц,—он не щадит и губит невинную молодость».

Я полагаю, что канцлер имел в виду лишь того, всем известного, грешника, но я при этом невольно подумал о Грации, да и король беспокойно задвигался. Впрочем он быстро преодолел смущение и отбросил это подозрение: он

ведь знал, что сэр Томас с презрением отверг бы всякий намек, позволяющий заглянуть ему в душу.

В светлом настроении щедрого человека, собирающегося сделать крупный подарок, и сияющими глазами король продолжал:

«До чего ты додумался, Томас! На это кресло, в котором сидели два святых и ученых, из коих один блаженной памяти Ланфранк победил еретика Беренгара, отрицавшего пресуществление, а другой—святой Ансельм,—привел неопровержимые доказательства бытия Божия,—на это кресло, говорю я, посадить мне свинью? Боже избави от того мою королевскую волю».

И мой король и повелитель словно радовался своей осведомленности в этом деле.

В выражении лица канцлера можно было прочесть вопрос, смешанный с упреком: не вздумает ли король какой-нибудь внезапной прихотью разрушить все его давно взвешенные и обдуманные планы?

Король взял свой кубок и весело осушил его. «Я поставлю над моими попами примаса на удивление: человека благородных и безупречных нравов, остроумного философа и к тому же человека мне преданного и прирожденного противника папства!»

Но сэр Томас ответил на это с недоверчивой улыбкой: «Я окидываю взором, о, государь, твоё

духовенство, но тщетно ищу среди него твоего избранника».

«Ты не догадываешься?—настаивал король.— Я приду тебе на помощь. Я скажу тебе: воистину никто не займет кресла примаса, кроме тебя!»

Канцлер остался наружно спокойным, но лицо его постепенно покрылось бледностью, так что в нем не осталось ни кровинки. Он откинулся в своем кресле, затем, избегая взгляда короля, перевел свои темные глаза в мою сторону. Двумя пальцами небрежно свисавшей правой руки он медленно приподнял складку своего пурпурного одеяния, так что стали видны загнутые носки его великолепных башмаков.

«Лучник,—шутливо сказал он, окидывая презрительным взглядом свое одеяние, сверкавшее драгоценными камнями,—полюбуйся-ка на этого святого, на этого крестителя Иоанна, презиращего мягкие одежды, которые носят при дворах королей,—взгляни-ка на этого доброго пастыря, несущего на плечах заблудшую овцу и жизнь свою полагающего за паству!»

Король разразился звонким хохотом, мне же стало при этом не по себе.

Тем временем канцлер с холодным выражением лица повернулся к королю. «Государь, ты говоришь об этом выборе не иначе, как в шутку. Это вещь невозможная в глазах твоих епископов-норманнов и саксов. Может ли английское

духовенство повиноваться, как своему духовному отцу, ловкому царедворцу на том лишь основании, что тот некогда в молодости, случайно или ради выгоды, принял посвящение в низший духовный сан? Как может сакс пасти души твоих норманнов или отщепенец,—как они его называют,—души твоих саксов? Государь, твой канцлер высказывается против этого плохого выбора».

«Этот выбор превосходен,—упрямо настаивал сир Генрих.—Ты—на кресле епископа Кентербэрийского,—и трон святого Петра затрещит по всем швам. Митра на твоей голове,—и на голове святого отца зашатается его собственная! Шах и мат!»

«Я не знаю, государь,—продолжал канцлер полусерьезно,—слыхал ли ты о тех внезапных превращениях, которые случаются с человеком, меняющим свою одежду на духовное облачение? Это не шутка—принять пастьерский посох, который держали в своих руках двое, ныне увенчанные небесным сиянием,—блаженный Ланфранк, признавший семя злака и плод лозы плотью и кровью Господней, и святой Ансельм, познавший Непознаваемого. Что, если я чудом превратился бы в настоящего епископа? Это было бы для тебя неожиданно и некстати!»

«Томас, обуздай свой язык,—погрозил ему

пальцем король,—я не терплю насмешек над священными предметами. Правда, я давно уж начинаю тебя видеть насквозь. Ты впитал в себя арабскую философию и следуешь тайному учению, ты не смиренный христианин; я же хочу жить и умереть таковым!»

«Тебе не верится, о, король,—печально ответил сэр Томас и указал на свою грудь,—что на это иссохшее древо может пасть еще небесная роса,—и ты вероятно прав. Но, и не будучи набожным, можно пресытиться миром. Под десницей твоего могущества управлял я долгие годы этим государством,—какими средствами? Насилием, подкупом, нарушением слова... и еще худшими, которых мне не хотелось бы называть. Так управляются все государства мира, но я от этого устал. Что мне Англия? Я не норманн, даже не сакс! Чужая кровь течет в моих жилах. А сокровища, которыми ты, великодушный, осыпашь меня,—для кого мне собирать их? Для ржавчины и моли!»

Тут я сразу увидел, что сэр Томас имеет в виду смерть Грации, да и король был этим растроган. Слеза скатилась по его щеке, ибо у сира Генриха было сердце мягкое.

Sunt lacrimae rerum *)— произнес про себя канцлер.

*) Латинские слова, означающие „есть слезы у вещей“.

«Чья это строфа, арбалетчик? Ты ведь был клериком»,—вновь обратился он ко мне, словно желая опять натянуть на себя личину равнодушия, спавшую было с него на мгновение.

«Римского поэта Virгилия,—ответил я без запинки,—и она означает, что не следует слишком нажимать на людей, ибо они полны изнутри слез».

Этими словами я думал придти на помощь моему королю и повелителю.

«Сними с меня старое ярмо,—обратился канцлер к королю с просьбой,—вместо того, чтобы надевать на меня новое, которое только сделает меня двоедушным и двусмысленным».

Искать другого канцлера? Невозможно. Сэр Томас необходим,—его слова не иначе, как шутка! Так, по моему, должен был говорить себе сир Генрих, ибо он разразился внезапно словами:

«Ты честодюбив, честодюбив, честодюбив! Ты слишком знаешь себе цену, ты умник! Ведь тебе известно, что ты незаменим. Слушай, Томас, это мне не нравится. Надо радостно давать, радостно брать!»

«Твоим канцлером я должен буду остаться, так как верю, что наши планеты и часы нашего рождения связаны между собою»,—ответил сэр Томас,—но не принуждай меня стать твоим примасом».

«Смелей! Смелей!»—вскричал сир Генрих, поджигаемый тем, что канцлер начал сдаваться.

«Постой, о, король!»—воскликнул одновременно канцлер, со взглядом, досточтимый господином мой, которого мне никогда не забыть,—со взглядом умирающего. Он схватился рукою за лоб, будто его там жгла рана, и голос его понизился до шопота:—Куда меня влекут, к каким сомнениям, к какому служению и повиновению? К какому концу?»

Здесь голос его снова возвысился, став почти угрожающим, и он спросил:

«Уверен ли ты во мне, о король?»

«Больше, чем в самом себе,—заверил сир Генрих. Он не отличался тонким слухом и пропустил поэтому мимо ушей слова, сказанные шопотом.—Довольно загадок! Ты мне нужен, Томас, и не говори: что мне до Англии? Мое благоволение давно возвысило тебя над саксами, и я сделал для тебя более, чем для кого-либо из норманнов».

Тут по лицу канцлера молнией пробежала презрительная усмешка, но сир Генрих не обратил на нее внимания и нетерпеливо воскликнул: «Довольно возражений! Я возвышу тебя, как то мне заблагорассудится, а ты повинуйся!»

Тогда сэр Томас склонил свое бледное лицо и произнес: «Как ты положишь, тому и быть!»

IX.

«Итак, канцлер, облеченный королем неограниченными полномочиями, отправился, во исполнение воли своего господина, обратно в Англию; там он принялся за епископов, которым предстояло выбрать примаса; своими ловкими пальцами месил он и лепил эту податливую глину до тех пор, покуда из его мастерских рук не вышли нужные ему создания, объединившие на нем свои голоса. Все удалось, как нельзя лучше: сэр Томас был возведен в сан, и Винчестерский епископ из норманнов, с кислосладким лицом и большой торжественностью, братски благословил его.

Но вот в один прекрасный день до Нормандии долетел невероятный слух: моему королю и повелителю сообщили, что его канцлер сразу и совершенно сбросил с себя все великолепие мирской жизни. К трапезе, полагавшейся по случаю его посвящения в епископы, он пригласил, вопреки всем правилам и обычаям, не своих братьев-епископов и не прочее высокопоставленное духовенство вкупе с цветом норманской знати,—нет, он велел собрать по улицам и из-под заборов всех бедных и больных, нищих и калек, чтобы подобающим образом заполнить свои вместительные покои и иметь достойных гостей за своей трапезой.

Король считал эти поразительные события за вымышленные или, по крайней мере, за раздутые завистниками и врагами своего любимца. Он подсмеивался над своими придворными норманнами, в которых эти новые и неслыханные вещи возбуждали досаду.

«Сеньоры,—поддразнивал он их,—в этом уж вы должны отдать моему канцлеру справедливость: он знает толк в нравах и обычаях каждого сословия. Во всем у него обнаруживается вкус! Ем он служил образцом совершенного царедворца, превосходя всех вас в тонкостях рыцарского обращения; теперь он подает своим новым товарищам по сословию, епископам, высокий пример истинно-апостольского образа жизни! О, это редкостный, единственный человек!»

Но вот новые вести подтвердили прежние, дополнив их тем, что примас снял с себя, тотчас после торжественного обряда посвящения, свое пышное епископское облачение и появляется на улицах Кентербери с исхудавшим и изнуренным постами лицом, в грубой рясе, собирая, где бы он ни показался, вокруг себя своих гостей-нищих саксов. Тут уже сир Генрих потерял прежнюю уверенность, и его приступы веселости прошли. Но вскоре он догадался, что этот несравненный умница только принял внешний облик святого человека, чтобы в предстоящих с папой перегово-

рах о духовных судах иметь на своей стороне преимущество.

Тем не менее, он порешил сам разобраться в этом деле, и ускорил свой отъезд в Англию.

По пути между Дувром и Лондоном к нему не раз обращались поджидавшие его норманские бароны, взывая к его защите против нового примаса, его канцлера, который отказывает им в выдаче их беглых саксонских холопов; дворяне жаловались, что те целыми толпами устремляются теперь в монастыри, чтобы там постричься. В ответ на это сир Генрих неодобрительно покачивал головой.

На следующее утро, после его прибытия в Виндзор, в большом зале дворца собрались все сеньоры, чтобы приветствовать его величество с возвращением. Он еще дремал, а же охранял двери, через которые мой король обычно выходил в зал и откуда можно было легко обозреть все блестящее собрание.

Среди собравшейся знати только и было разговоров, что о необъяснимом в своей внезапности превращении с сэром Томасом. Все с нетерпением ждали его появления,—ибо было известно, что он явится приветствовать короля,—и оживленно друг с другом беседовали, понизив голос, как это полагается в королевских покоях. Один только господин Ролло, старик, ростом выше всех на

целую голову, не желал стеснять себя, и речь его гремела, как глухие раскаты грома.

Он стоял по правую сторону зала, окруженный пожилыми сеньорами, самый худой и сухощавый среди них, и на свой лад поносил всех носящих тонзуру и, в особенности, нового примаса.

«Никогда я не верил в мужскую преданность со стороны этой бледной бабы!—бранился оруженничий.—Лживый и трусливый раб запрятал свое тощее тело под рясу, так как там он считает себя в большей безопасности, чем за щитом своего короля. Сцепиться бы мне с этим лицемером, покуда он носил еще меч! Вы увидите, этот хитрец еще наделает нам бед».

И его собеседники с ним соглашались.

С другой стороны зала, среди более молодых, слышалось насмешливое хихиканье. Сэр Вильгельм Траси показывал там книжку со своими забавными набросками.

Этот сеньор, надо вам знать, был искусным рисовальщиком, умевшим, как никто, издеваться при посредстве рисунка. Искжая слегка черты человеческого лица, он превращал его в звероподобное или придавал ему вид какого-нибудь мертвого предмета, делая из него всеобщее посмешище. И мне досталось однажды от его руки: он превратил меня в кривоногую охотничью собаку, несущую королю кулика в своей большой пасти. Хотя мне и тогда уже эта штука при-

шлась не по вкусу, я, тем не менее, первый на нее посмеялся, ибо это все же было самым умным. Другие с более горячей кровью и более знатного рода, чем я, гневались, когда сэр Вильгельм заносил их в таком превращенном виде на дощечке своей книжки, которую он постоянно носил на цепочке у пояса. Хорошо еще, что клинок его был отточен не менее, чем его грифель, иначе ему пришлось бы поплатиться жизнью за остроту последнего.

Насмешник показывал теперь рыцарской молодежи новый лист своих изображений. С любопытством приблизился я к сэру Ринальду, по прозвищу Красивому, державшему как раз в руках книжку с забавными рисунками. Он покатывался со смеху и уронил при этом книжку на пол. Я ее поднял ему и увидел там изображение странного растения. Из тонкого стебля со свисающими, на подобие рукавов рясы, листьями, вырастала, словно колос на зыбком стержне, хорошо знакомая мне голова мученика на худой шее.

Это был, под личиной некого отшельника, вылитый примас.

С такой быстротой при дворе человек, пред которым трепещут, превращается в посмешище!

Книжка еще ходила по рукам, когда издали послышались странные звуки. Это было просто-душное благочестивое пение тысяч и тысяч голосов, пылающих набожным рвением, наполовину

воинственное, наполовину жалобное. Оно медленно приближалось к замку.

«Примас со своими нищими!»—пронеслось по залу, и все поспешили к окнам. И я тоже отыскал себе щелочку и увидел, как сэр Ролло с ближайшего башенного зубца повелительно простер свою правую руку.

«Поднять мост! Затворить ворота!»—закричал он вниз во двор вооруженной норманской страже, охранявшей вход. Но мирная толпа: монахи, нищие, дети, вся меньшая братия напирала неудержимо и протискивалась, как стадо. Стражники не могли исполнить приказание господина Ролло, они невольно отступили, ибо сэр Томас благословил их, простерев над ними руки. Он шел, предшествуемый высокоподнятым распятием, во главе полчищ своей бедноты;—он, которого я никогда не видал прибывающим ко двору иначе, как окруженным блеском и пышностью, в сопровождении избранной свиты, был теперь одет в грубую власяницу, а ступни его голых, обутых в сандалии ног белели из-под темной шерсти, как слоновая кость.

Почтительно и робко встретила примаса королевская челядь, чтобы провести его во дворец. На пороге он еще раз обернулся к своим и приказал им терпеливо ждать своего возвращения.

Они повиновались и смиренно расположились на земле, оставив незанятыми каменные скамьи

во дворе и мраморные ступени лестницы. Мой взгляд упал на сакса, несшего перед примасом крест. Он стоял посреди толпы и все еще высоко держал доверенную ему святыню. Рыжая борода наполовину покрывала его лицо цвета глины; но все же эти грубые черты показались мне знакомыми. Действительно, это был Трустан Гримм, жених моей Хильды, дочери лондонского лучника. Я обрадовался, увидя его монахом, и подумал, что Хильда, несмотря на свое унижение и вопреки воле отца, пренебрегла саксом, как оно на самом деле и было, но что я узнал с достоверностью лишь позднее.

Между тем, сэр Томас поднялся по внутренним лестницам и как раз в тот миг, когда я отходил от окна, вступил в зал, сосредоточивая на себе все взоры и тихо прошел до середины покая. Здесь он медленно поднял свой взгляд на собравшихся и отеческим движением правой руки благословил их. По рядам присутствующих пробежал недовольный ропот, среди которого явно выделялись бранные слова оружничего.

«Оставь при себе свое паршивое благословение, мы в нем не нуждаемся!»

Сэр Томас молча направился к открытому окну и, сопровождаемый презрительными взглядами норманнов, простер оттуда свою милосердную десницу над толпой саксов. Тут в глубине двора поднялись громкие вопли, в которых звуки

рыданий перемешивались со звуками радости, так что нельзя было отделить ликования от скорби. Ибо с тех пор, как саксы лишились собственных королей, за сто лет в первый раз до них долетел привет и снизошло благословение из окон королевского дворца.

Норманны же сжимали кулаки или хватались за рукояти своих мечей.

Примас повернулся, не обращая ни на кого внимания, в сторону хорошо ему знакомой королевской двери как раз в ту минуту, когда камерарий открыл ее изнутри, и сир Генрих в хорошем утреннем расположении духа вышел в зал. Сэр Томас почтительно, с опущенной головой, остановился перед королем, ожидая, покуда тот заговорит с ним.

Сир Генрих некоторое время внимательно и недоверчиво смотрел на своего канцлера, не иначе, — уж не взыщите, — чем рассматривают своего долголетнего любимца-коня или собаку, причудливо изменивших свой вид после стрижки или подрезывания хвоста.

На лице его можно было прочесть изумление и усмешку, но, памятуя о своем королевском достоинстве и мудрости, он отпустил сначала придворных приветливым движением.

«Мы благодарны вам, сеньоры, за ваше присутствие, преданность и любовь. Веселье и радость по случаю нашего возвращения к вам мы»

откладываем до праздничного пиршества, к которому мы всех вас приглашаем, как это подобает нашему благоволению и вашему достоинству. Но сначала мы с нашим канцлером покончим все дела. Не желаете ли тем временем пройтись по нашим новым садам? Не забудьте кинуть взгляд на новый водоем, что на заднем дворе,—бронзовую голову грозного льва, законченную для нас валлонским мастером в наше отсутствие. До свиданья, гг. бароны!»

После этих слов короля зал опустел. Последний нехотя вышел оттуда господин Ролло, оруженщик.

Тут мой король и повелитель не мог больше сдерживаться. «Чорт побери, Томас, на что ты похож?»—обратился он, подтрунивая, к своему канцлеру,—«ты линяешь, что ли? У тебя повypали перья, и ты посбил петушьи шпоры на своих рыцарских сапогах, да, как я вижу, потерял и самые сапоги! Ай-ай! Чего только не насмотришься с таким философом, как ты! Ты ведь не переличатая змея, меняющая свою кожу. Положим, некоторое воздержание к лицу епископу, но ты уже пересаливаешь, великолепнейший, право, пересаливаешь! Что же, ты хочешь умерщвлять свою плоть, как пустынный? В таком случае я уж не могу больше сидеть с тобою за одним столом, что было для меня такой услугой; ибо вода и коренья не годятся для королевского желудка!»

Сэр Томас выслушал эти веселые слова с поникшим челом, не меняя выражения лица. Но вот он поднял глаза и взглянул в лицо королю. Тут мой повелитель заметил, как впали щеки епископа от тяжелых постов и жестоких самобичеваний, как заострились формы его черепа и странно углубился его всегдашний строгий взгляд.

Жалость взяла моего короля.

«Томас, мой любимый!»—начал он снова,—сбрось же свою личину! Мы одни, и никто нас не слышит. Я верю, что это переодевание делается ради меня, но будь я проклят, если понимаю, куда ты метишь. Что означает это превращение? Открой свои уста, загадочный ты, таинственный человек!»

«Твои слова, мой король и повелитель, неожиданны для меня,—отвечал канцлер.—Я не иной, чем кажусь и поступаю. Я твой слуга, хорошо тебе известный».

«Так меня, значит, околдовали!»—вскричал сир Генрих.—Моя ли вот эта рука, король ли я? Ты ли мой канцлер? С тобой ли мы совещались день за днем и управляли этой страной?.. Нет, не время теперь шутить, у нас теперь не масляница, а ясные, трезвые будни. Что за недобрый дух вселился в тебя? Открой передо мною свое сердце... Мое, ты знаешь, всегда тебе открыто!»

«Благодарю тебя, король, за то, что ты ободряешь своего слугу и позволяешь ему свободно

высказаться перед тобой, — ответил примас.—И вот я решаюсь признаться тебе: рука эта слишком слаба, чтобы держать одновременно епископский жезл и твою печать. Одно из двух доверенных мне сокровищ неизбежно должно потерпеть при этом ущерб, а я слишком верный слуга и не могу согласиться на то, что либо у тебя будет негодный канцлер, либо у церкви плохой епископ. Возьми, о, государь,—умоляю тебя,—этот знак твоей королевской воли, орудием которой ты меня избрал,—это свидетельство твоего великого незаслуженного благоволения, которым я был осчастливлен долгие годы,—возьми его от меня!»

И сэр Томас опустил руку в складки своей широчайшей одежды, вынул оттуда государственную печать с тремя леопардами и протянул ее королю, желая ему вручить ее.

«Ни за что!—воскликнул сир Генрих, отступая на шаг назад.—На таких условиях я не играю! Ни единого часа я не могу обойтись без твоей помощи. Ты один, с твоим умом, в состоянии выполнить то, над чем мы вместе ломали голову. Я моей сильной рукой могу порвать нежную пряжу твоих пальцев. Без отговорок. Моим канцлером был и останешься ты!»

«Ты не захочешь моей гибели,—стал умолять его сэр Томас,—ты для этого слишком великодушен. Подумай, я боюсь прогневить Того Высше-

го, в чьи руки ты сам меня отдал. Он ревнивый владыка и не терпит рядом с собой никого!»

Эти трудно объяснимые слова настолько сбили короля с толку, что он безотчетно принял от канцлера печать. Он подозрительно нахмурил лоб, и в голосе его послышалось неудовольствие, когда он обратился к канцлеру с вопросом:

«Кому я тебя уступил? Не папе же в Риме!»

Канцлер отрицательно покачал головой.

Неземной свет озарил внезапно его чело. Он поднял свою худую руку, так что рукав в рясе далеко откинулся назад,—и показал на небо. Мой король и повелитель был поражен и до самых глубин своей души был охвачен испугом. Государственная печать выскользнула из его рук и со звоном упала на мраморный пол. Я подошел и наклонился, чтобы поднять этот драгоценный предмет, ручка которого была из чистого золота. Когда я осмотрел внимательно печать, то, подумайте, оказалось, что она раскололась и через благородный камень по гербу Англии пробегала тонкая трещина. Молча поставил я печать на стол возле кресла короля, поддерживаемого четырьмя драконами.

Когда я снова повернулся в сторону собеседников, то мой государь уже овладел собой и с деланной шутливостью произнес: «Помоги мне, святой Георг,—ты не на шутку нагнал таки на меня страху! Но теперь довольно неожиданно

стей и вывертов... сядь, как бывало, ко мне и давай заниматься будничными делами!»

Король опустилсЯ в свое кресло, а я пододвинул для канцлера другое, немного пониже, но столь же богато украшенное, то самое, в котором он имел обыкновение сидеть рядом с королем. Но сэр Томас продолжал стоять перед королем на почтительном расстоянии.

«Высокий повелитель, дай мне срок и имей терпение,—сказал он.—Половину своей жизни положил я на то, чтобы изучить дела и законы твоего государства. Могу ли я в один день ознакомиться с положением святой церкви, на служение которой ты меня поставил? Я ведь долго держался от нее в стороне и был ей даже враждебен. Поэтому отнесись ко мне с терпением».

«К делу, Томас, к делу,—настаивал король.—Тебе отлично известно, почему я тебя сделал своим примасом. Давай примемся теперь вместе отменять и уничтожать духовные суды!»

«Ты найдешь меня готовым к этому,—ответил е раздумье епископ.—Ведь в моих глазах все эти права, о которых спорят в том или ином смысле, лишь изменчивые образования, текучие формы, глиняные сосуды, годные или негодные к употреблению, в зависимости от того, сохраняют ли они в чистоте или отравляют вино предвечной справедливости. Я обращаюсь к моему господину с вопросом, что он об этом думает».

«У кого же это ты хочешь справляться, Томас?—рассмеялся король.—Не у Святой ли Троицы?»

«В Евангелии,—прошептал сэр Томас,—у Того, в ком не найдешь и тени неправедности».

«Это не речь епископа!—воскликнул с искренним возмущением сир Генрих. — Так говорят злые еретики! Место пресвятого Евангелия на аналое, на шитом жемчугом плате. При чем оно в делах мирских, в действительной жизни? Посмотри мне в глаза, Томас: либо ты желаешь стать моим врагом, либо чудесная ясность твоего ума затуманилась от неумеренных постов. Говоря коротко: уничтожь мне духовные суды! Для этого, только для этого посадил я тебя на великолепное кресло Кентербери. Я не желаю оставлять безнаказанными преступные деяния моих попов, и тем навлечь на себя и свой дом громы небесного правосудия. Недавно еще один из саксонских клериков поносил с кафедры в мятежных речах дела и славу моего предка Завоевателя, а другой из норманнов посягнул на невинность ребенка».

«Государь,—возразил примас, и его впавшие щеки зарделись,—поверь, что я взыскиваю с моих клериков за их греки строже, чем то сделал бы любой светский суд. Ужасные дела!.. И самое ужасное», — тут он приостановился и закончил упавшим, изменившимся голосом: — «это

возмущение и мятеж против твоих предков и тебя—христианских королей! Здесь я знаю, какова воля Божия. Но чтобы Господь повелевал мне выдавать саксов, укрывшихся в моих монастырях, их мучителям, твоим баронам,—это для меня большой вопрос и источник сомнения».

Тут сир Генрих ясно увидел, что примас не желает отказаться в его пользу от духовных судов и самым настоящим образом издевается над ним.

«Я обманут!»—вскричал он и вскочил с своего кресла.

В это мгновение ожидавшие во дворе саксы затянули,—быть может, для того, чтобы умерить свое беспокойство за примаса,—новое песнопение. Они пели: *Vexille Dei prodeunt*“*), звучащую уверенностью в победе.

Тогда сир Генрих, и без того уже раздраженный, бросился к окну и посмотрел вниз. «Томас,—приказал он,—уйми своих нищих, которые таскаются за тобою по пятам. Вой твоей голодной стаи мне противен!».

Сэр Томас не пошевелился.

«Может ли епископ запрещать бедным и обездоленным следовать за крестом?»—спросил он смиренно.

*) Начало латинского гимна: „Грядут знамена божии“...
вып. 28. МЕЙЕР.

Тут король дошел уже до белого каления.

«Ты мне мутишь саксов! Мятежник, предатель!»—закричал он, делая шаг по направлению к примасу. Его голубые глаза выступили из орбит, а руки судорожно хватали воздух, словно желая задушить стоявшего перед ним.

Но тут отворилась дверь, и в комнату вбежала госпожа Элленор. Вся в слезах бросилась она к ногам примаса:

«Я величайшая из грешниц! — всхлипывала она.—Я недостойна лобызать прах твоих ног, ты, святой человек!»

Сэр Томас наклонился к ней и начал успокаивать ее мягкими речами. Это зрелище вернуло моему господину утраченное самообладание. Он смотрел некоторое время на свою жену, распростертую у ног епископа, затем пожал плечами, расхохотался, повернулся спиною и вышел из комнаты».

X.

«В тот день сердце короля Генриха было ранено отравленной стрелой; по началу укол был мал, и временами казалось, что рана на пути к заживлению, но в глубине она продолжала гноиться и все мучительнее в'едалась в тело, покуда, наконец, болезнь, распространившись из

этой единой точки, не подточила всего существа сира Генриха и не уготовила гибели его царственной жизни.

Однако, разрушение наступило не так скоро, ибо жизнерадостная, крепкая природа моего короля оказывала ему сопротивление. Под наплывом дел, в смелой жизненной борьбе он затаивал, а то и забывал свое недовольство, но по ночам, едва задремав, он вскакивал со своего ложа, одолеваемый беспокойными снами и, безостановочно шагая взад и вперед по комнате, призывал к ответу неблагодарного любимца, посещавшего и пугавшего его в виде ночного призрака; то он обращался к нему с угрозами, как оскорбленный, то с любовными ласковыми словами. Он приводил ему всяческие примеры неблагодарности, какие мог только припомнить из библейской и светской истории, и доказывал ему, что его неблагодарность превосходит все эти случаи. Человеческие уста не в силах изобразить, как страдал мой король. Присутствовал ли, отсутствовал ли сэр Томас, он в равной мере терзал его.

Когда примас, с видом безмолвного страдальца, являлся перед королем воочию, тот бывал удручен его достойным жалости видом; когда сэр Томас держался вдали от взоров короля, в тиши своего епископского жилища, сир Генрих

гневался и печаловался еще мучительнее: ведь тот, кому он больше всех доверял, сама душа его начинаний, человек, знающий его, как никто,—предает его любящее сердце, бежит и чуждается его, обращая против него острие своего сверхчеловеческого ума.

Впрочем, нельзя сказать, чтобы канцлер отказывал королю в примирительных словах и не шел ему порой покорно навстречу; тогда король ловил случай и поспешно схватывал условно протянутую руку; примас же, пугаясь его преждевременного торжества, отдергивал свою руку; вновь охваченный холодом, мой король с таким же успехом мог бы обнять облако, как и удержать своего бывшего канцлера—этого гладкого, гибкого утря. Но даже, когда примас в том или ином спорном вопросе готов был идти на откровенные, настоящие уступки, из этого ничего не выходило. Либо он наталкивался по дороге в Виндзор на ушедшего от мира пустыльника, которому как раз в этот день вздумалось вылезть из своей пещеры, чтобы умолять сверхмеры ревностного епископа не поступаться перед князем мира сего ни правами церкви, ни правами обездоленных, либо какой-нибудь одержимый монах с крестом в руке преграждал ему дорогу в нескольких шагах от королевского замка и своими возбужденными речами заставлял смиренного примаса возвратиться в Кентербери.

Хотите знать правду? Я полагаю, что средний выход был бы возможен, и что канцлер со своим умом сумел бы найти такие примирительные положения, которые в равной мере сохранили бы и обеспечили права, как английской короны, так и милосердной церкви: ведь король не был бесчеловечным, а Томас слепым поборником церковных прав; но сердца обоих отвратились друг от друга, и когда они готовы были сделать последний шаг к примирению, между ними мертвящею враждою вставал призрак их умершей любви.

К тому же нельзя забывать, что госпожа Эленор отныне, как целомудренная супруга, не отходила более от моего господина; со времени своего обращения она днем и ночью не уставала твердить, что не следует обижать Божьего святого, чем только озлобляла и ожесточала короля. При дворе, в свою очередь, как это водится, пошло натравливанье, началось шипенье, подливанье масла в огонь и раздуванье пожара. Норманские бароны все поголовно сосредоточили свою ненависть и отвращение на благочестивом мятежнике, открывшем неприступные убежища своим монастырям для беглых крепостных из завоеванных поместий. Ежедневно и ежедневно королю наушничали о том, как растет и ширится влияние епископа в саксонском народе и с какой ловкостью он всюду и всегда поспе-

вает со своей помощью и благословением. Он подкапывается под самое государство, создавая тайное брожение пылающих набожностью душ — брожение, более опасное, нежели открытое возмущение, мятеж не духа, а тела, ибо первого нельзя подавить оружием. Когда эти нашептывания возбуждали подозрительность в короле, то в раздражении он давал пинка своему любимейшему псу, да и со мной обращался не очень-то приветливо, в особенности, если мне приходилось передавать ему одно из тех замысловатых посланий, в которых примас левой рукой боязливо отнимал то, что великодушно давал правой. Тогда, бывало, король с проклятием комкал эти обманчивые послания и приказывал трубить в охотничий рог, надеясь на вольном воздухе рассеять свое негодование. Но это ему не удавалось. Когда на него выходил олень и я подавал арбалет, то, вместо перепуганной дичи, ему чудился его преследователь, и он с мучительным стоном: «берегись, Томас, тонкая шея», пронзал животному сердце.

Наконец, сир Генрих, собрался с духом, вызвал примаса на суд своих баронов, добился его осуждения, как государственного изменника, и навсегда изгнал его из своих владений. Но в тот самый день, в который сэр Томас, словно преступник, принужден был бежать, за море, госпожа Элленор ушла от своего супруга, по-

кинув Виндзорский замок с далеко разнесшимся жалобным воплем.

Теперь мой король и повелитель стал днем и ночью внимательно прислушиваться, чем-то даст о себе знать там, за морем, Томас.

Прежде всего пришла весть, что Капетинг принял на том берегу примаса с почетом и попросил его благословения, заверив его, что, как христианский государь, он воистину во всю свою жизнь не обидел ни одного монаха, а тем паче епископа. Это был король Людовик, по прозвищу Молодой. Он вступил на трон безбородым мальчиком, и прозвище Молодой так и осталось за ним навсегда, ибо он не сумел никогда превратиться в настоящего мужчину; недаром же госпожа Элленор, которую он избрал своей королевой, горько сетовала в минуты пылких порывов своей молодости, что ее выдали замуж за монаха.

Государь этот был прирожденный друг духовенства. Он стал умолять отца всех христиан, — не забыв присовокупить к своим мольбам малую толику червонцев, — помочь святому примасу в его борьбе против Генриха, наследственного врага его, Людовика, и всего его дома. Он надеялся успешнее справиться с королем Генрихом при помощи оружия церковного, нежели оружия светского.

Святой отец, с своей стороны, заботливо сле-

дил за чашами весов, готовый положить свое благоволение на ту из них, которая перетянет, благодаря весу положенных на нее червонцев.

Папская мудрость склонялась в то время не к выгоде моего короля, которому его войны в Ирландии стоили не мало денег и который, по-этому, меньше, нежели прежде, мог уделять отцу всех христиан.

Тем не менее, святой отец медлил брать сторону сэра Томаса без оговорок. Он никак не мог проникнуться к нему настоящим доверием и провести в своем уме грань между преследуемым епископом и бывшим канцлером. Не раз он имел случай узнать его, как хитроумного государственного человека, и ему казалось подозрительным, что в этом случае сэр Томас не дает никакого применения своему искусству, а, напротив, позволяет преследовать себя, как великий апостол первых времен христианства или как сумасбродный еретик последнего времени.

Заслуживающие доверия свидетели передавали мне,—и насколько я знал сэра Томаса, я считал это за правду,—что он свято блюл чистоту своего дела, и руки его не были запятнаны изменой его королю и повелителю. Он ничего не просил у папы и ничего не требовал от Капетинга, кроме кельи в монастыре, где бы преклонить свою голову.

Таким образом, предоставленный святым от-

цом своей судьбе, избегая двора Капетинга, он скитался с нищенским посохом в руке от монастыря к монастырю, и часто самые следы его терялись. Но если в пределах Франции тело его хирело и теряло силу, то в Англии духовное присутствие его становилось все заметнее, и власть его все возрастала; как полная луна в ночи, светил его образ тоскующим душам саксов. Или, если вам больше нравится, сэр Томас, подобно Христу-младенцу в яслях, нашел себе, в своем ничтожестве и величии, приют в английских хижинах и сердцах. Он властвовал там, как настоящий король, и изгонял из душ саксов всякий страх. Собственными глазами видел я, как саксы, а еще больше их жены, теперь, после суда над примасом, отказывали его величеству в знаках почтения и коленопреклонении, отворачиваясь от него, когда он проезжал мимо. Мне еще памятен один маленький случай. Мой король прогуливался однажды по своим садам в тех местах, где у реки они незаметно переходят в лесное приволье. Я шел, по своему обыкновению, в некотором отдалении по его следам. И вот, из цветущих кустов выполз белокурый саксонский ребенок и подвернулся королю под ноги. Государь, будучи на этот раз в хорошем расположении духа, поднял мальчика на руки, приласкал его и вложил ему в ручонку серебряную монету. «Держи крепко, мой мальчу-

ган!» Тут выскочила с пылающими глазами мать, спрятавшаяся было в первом приступе почтительного трепета за ствол дерева. Она вырвала у ребенка монету и вне себя швырнула ее в чашу, как будто это был один из тридцати проклятых серебрянников. Я поспешил к тому месту, чтобы задержать дерзкую женщину, удиравшую оттуда с ребенком на руках, но сир Генрих сказал мне: «Ганс, оставь ее!» и, вздыхая, направился дальше, расстроенный и задумчивый.

День и ночь все мысли и мечты моего короля были направлены на то, как бы лишить сэра Томаса на законном основании и навсегда его достоинства примаса, с каковым достоинством, по его убеждению, было связано почитание саксов. Я часто бывал свидетелем того, как он, стискивал себе кулаками лоб, раздумывая и ломая над этим голову. В одно прекрасное утро он вышел из своего покоя с торжествующим видом: ему показалось, что задача им решена.

То был день Воскресения Господня: сир Генрих выступил в собрании своих баронов с заявлением, что широко разветвившиеся владения его нуждаются в соправителе и что он намерен облегчить себе бремя забот, разделив власть со своим первенцем.

Бароны,—с дурными ли, с хорошими ли мыслями и намерениями,—дали свое согласие на то,

чтобы принц Генрих был коронован наряду со своим отцом, и норманский епископ иоркский совершил обряд коронования и помазания юноши. За этим последовало приличествующее случаю пиршество, и тут-то вот и случилось, как я год тому назад здесь указывал и подтверждал вашей братии в монастыре по всей правде, что мой повелитель прислуживал за столом молодому королю Генриху и собственноручно накладывал ему кушанья. «Сегодня я избавился от тяжкого бремени!»—воскликнул он, проливая слезы радости.

Ясно ли вам, в чем тут хитрость? Понимаете ли вы, какое бремя думал сбросить с себя мой король? Вы качаете головой! Ну, ладно, вот вам разгадка. Великим преимуществом, несравненным алмазом на митре кентерберийских епископов, было—их право коронования английских королей. Тем самым, что обряд на этот раз был совершен другим епископом, должность примаса упразднилась, и сэр Томас лишился своего достоинства. Таковы были расчеты моего короля, и он прибег, как к средству, к возведению рядом с собой на трон тщеславного сына; ибо,—полагал он,—его первенец удовольствуется тем, что будет любоваться перед зеркалом блестящей коронкой на своей голове, да велит выткать ее на своей одежде и на лошадиных понах.

Что же, разве это был не тонкий, не полный государственной мудрости расчет, подобный прежним советам канцлера, ныне умершего для лукавства мира сего?

Выдумка оказалась недоброй: худшего сир Генрих не мог и измыслить.

Обнаружилось это немного времени спустя. Две злосчастных вести долетели в один и тот же день до Виндзора: одна гласила, что молодой король Генрих, под предлогом турнира, уехал в Париж, увлекши за собою непостоянного принца Готфрида, в действительности же для того, чтобы без всякой нужды постыдным образом принять в лен от Капетинга земли норманского государства, лежащие по ту сторону пролива; другая весть гласила, что исчезнувший было сэр Томас снова об'явился в день святой Троицы в одном из французских городов и под гул колоколов потушил дыханием своих уст горящие свечи на главном алтаре собора, предав отлучению епископа иоркского, посягнувшего на права Кентерберийского епископата.

Старый король,—со времени коронования сына моему повелителю приходилось мириться с этим неприятным прозвищем,—получив обе вести, впал словно в безумие: он принялся неистовствовать, сорвал с себя на глазах слуг одежды, со стоном бросился на свое ложе, рвал в клочья шелковые покрывала, вырывал зубами шерсть

из подушек и в отчаянии бил себя в грудь кулаками. «Оторвите этого безбожного вампира от моего сердца,—вопил он с пеной у рта, подражывая сэра Томаса. — Он съедает мне тело и душу!»

Господин Буркхард с неудовольствием выслушал эту часть рассказа, ибо он был Гибеллином, верным духу империи, и поэтому во внутренних неурядицах даже и чужих народов держал всегда сторону королевской власти. Ему было не по нутру, что великий и мужественный государь оказался в положении, столь унижительном для своей особы. Он дал волю своему неудовольствию, сделав выпад против закаленного арбалетчика.

— Две злых вести в один и тот же день! Ганс, ты сочиняешь! Ведь эти события разделены целым годом, если не лгут числа на полях моей летописи!

«Оставьте меня в покое с вашими жалкими числами!»—огрызнулся арбалетчик, но, тотчас спохватишись и желая смягчить впечатление от своих сердитых слов, прибавил:—«Ведь не одно и то же, стоит ли еще человек в цепи событий и находится в разгаре своих жизненных дел, или смерть уже захлопнула книгу его бытия. Когда скатывается последняя песчинка, то человек как бы выбывает из строя дней и часов и предстает перед судом Божиим и людским во всей своей

ясности и целокупности. И ваша летопись, и моя память—обе правы и неправы: первая с ее на пергаменте начертанными письменами, вторая со врезавшимися в мое сердце знаками. Но не задерживайте меня, пора нам кончать, господин мой, а то мне уже мерещится окровавленная мертвая голова святого и исполосованная бичом спина моего государя».

XI.

«Вечером того дня, когда мой король и повелитель, в припадке слепой ярости, посрамил и унизил себя перед своими слугами, я сидел удрученный, в одиночестве, полный стыда и скорби за моего господина, на низенькой стенке возле конюшен. Вдруг, кто-то ударил меня по плечу; это принц Ричард, осматривавший своих жеребцов, взобрался верхом ко мне сюда на стенку, с непринужденностью, свойственной ему в обращении со слугами.

«Ганс,—начал он без околичностей,— я видел собственными глазами, как бессмысленно и не по-рыцарски вел себя сегодня отец. Да сгинет этот день в вечном мраке! Беснующийся зверь—горе и стыд!—Две гневные детские слезинки скатились по его щекам.—Хорошо еще, что эти бунтовщики Генрих и Готфрид не видали всего случившегося. Они ославили бы несчастного че-

ловека перед французским двором и перед всеми тронами, как безумца и невменяемого, способного так же мало владеть и управлять своим государством, как и самим собой. Если так пойдет дальше или еще того хуже,—ой-ой, как легко будет братцам сорвать с отцовской головы корону и забрать мою долю наследства! Но, клянусь Всевидающим Оком, так не может продолжаться».

«Имейте терпение, принц Ричард,—прервал я его,—и не покидайте больного. Если вы наверняка хотите вступить во владение вашим наследством, то уповайте на заповедь Господню; она порукой тому, что почитающий отца и мать своих будет долголетен и богат землями».

«Не ради меня одного должен быть этому положен конец,—сказал принц Ричард.—Я третий по старшинству и, клянусь честью, мне больше улыбалось бы вот этим кулаком раздобыть себе королевство, чем наследовать Завоевателю, но... Тут он вскочил на ноги и протянул руку к небу.—Я не дам погибнуть государству Норманна, это так же верно, как то, что кровь его течет в моих жилах. Оно должно быть единым по эту и по ту сторону моря и властвовать над миром!»

Я не мог отвести глаз от принца, когда он так вот, во всей своей красе и величии, стоял перед мною. А он обратился ко мне с нетерпеливым вопросом: «Ганс, откуда это пошло и почему так

плохо обернулось? С того часа, говорю тебе, как отец рассорился с мудростью, т. е. с сэром Томасом. Не перечь мне! Я хочу переодетым отправиться за море в тот монастырь, где постится и молится примас. Он меня любил, любит и по сейчас, если только в нем осталась хоть капля не монашеского. Не отговаривай меня: я пойду к нему, обниму его колена, буду просить и молить,—молить не как королевский сын и не как молят простого человека,—и я не успокоюсь, пока не сведу их обоих и не примирю друг с другом. Сэр Томас должен снова стать канцлером при отце, ибо только его мудрости великой и незаменимой по силам распутать весь этот клубок».

Я знал, что за охотник принц Ричард до всяческих переодеваний и приключений, но на этот раз им двигала скорее чистая, детская скорбь, нежели его горячая кровь!

Я пытался доказывать этому прямодушному сорви-голове, что неудавшееся примирение легко оборачивается еще вящей враждой. Но затем, не откладывая дела в долгий ящик, пошел раздобывать для него и для себя простое платье, готовый сопровождать принца Ричарда в его путешествии, ибо радостное упование, горевшее в его взоре, ослепило и меня, человека бывалого.

Отпуска у моего короля я не стал брать, да и ему самому должно было быть только приятно,

что я, свидетель его позора, исчезну на несколько дней с его глаз.

Мы верхом пересекали Францию, переодетые двумя бедными немецкими рыцарями, ищущими военной службы и заработка. Впрочем, молодость и порода принца Ричарда с такой непрекаемостью заявляли о себе из-под заплат его плаща, что мне для отвода всяких подозрений пришлось совершенно распроститься с моими придворными привычками и грубо ругаться и клясться на моем родном, аллеманском наречии по всем харчевням и большим дорогам. Сверх того, мы ехали по ночам и отдыхали днем.

И вот, в одной из харчевен, в то время, как принц Ричард спал в отдаленной комнате, мне пришлось столкнуться с неким незнакомцем, которому дана была дьявольская власть над душами; своим острым мечом и еще более острым языком он всюду, где бы ни появлялся, как гений раздора, рассекал кровные узы и безвозвратно рушил мир *). И Львиному Сердцу суждено было впоследствии узнать его, но в эти дни Господь еще уберег его от этого знакомства.

Я сидел в пивной за своей закуской, когда до меня донесся стук копыт по мощеному двору и шум в'езжающего конного отряда. В комнату вошло пять или шесть рыцарей, богато одетых и

*) О Бертроне де-Бори см. историческую справку в конце предисловия.

вооруженных, согласно требованиям турнира. Они приказали живо подать им доброго вина.

Это были южане-французы, со стройными станами, огненными очами и крылатой речью; они возвращались, как я вскоре узнал, с турнира в славном городе Париже, принужденные бежать оттуда вследствие внезапно вспыхнувшей злой ссоры.

Велев подбросить дров в огонь и рассевшись вокруг пылающего очага, рыцари принялись шутить и пустозвонить, перекидываясь звучными речами; часть юношей с пренебрежением отзывалась о парижанках, которые не чета, мол, красавицам из Арля и Тараскона; другие, в свою очередь, горячились по поводу ссоры, отравившей и укоротившей им праздник.

Кто именно был зачинщиком ссоры,—для меня не могло быть сомнений. Это он как раз сорвался со своего места на середину,—с горящими глазами и развевающимися волосами.

«Да, это правда; куда ни ступит моя нога, всюду из земли вырывается пламя,—крикнул он им,—пламя ясное и смелое, не то, что ваш придушенный огонь! Ведь и вы, провансальцы, аквитанцы, дети солнца, ненавидите втихомолку их, этих людей севера, с их закованными в латы членами и неповоротливыми движениями, с их властными речами и алчными взорами; ведь вы знаете, как завидуют они вам, баловням судьбы,

вашим холмам, текущим маслом и вином, давшишим вольностям ваших римских городов, вашим счастливым гаваням, где совершается обмен и товарами, и мыслями со всех концов земли; завидуют вашему морю и небу, совершенству ваших женщин, вашему сладостному языку; чувствуете же вы, что хотят они выжить вас с солнца и раздавить, как гадких насекомых!

«Так и будет, ибо народы земли истребляют друг друга, и ненависть—всемогуший властелин мира! Но вам неохота себя беспокоить: так вейте же гнезда, предавайтесь покою и забавам в вашем царстве грез,—вы, сочинители сонетов! Любите, покуда в любви не познаете ненависти!

«Мне же дайте подняться выше обмана и проникнуть в сущность вещей. Да здравствует ненависть, огневое дыхание земли! Взгляните на это сердце—очаг ее пожирающего пламени! Кто жаждет ненависти,—тот направь стопы свои к пылающему сердцу Бертрана де-Борн! Пред этим алтарем открываются истинные помыслы, и руки берутся за мечи».

И он указал на искусно вышитое золотом и пурпуром пылающее сердце, которое украшало левую сторону его черного в обтяжку камзола.

«Сердечко на вашем камзоле я объяснял себе по иному, сеньор Бертран!—несмело подтрунил один молоденький рыцарь, одетый явно напоказ в лиловое,—видимо цвета своей дамы. Ведь

и вы охотно засматриваетесь на прекрасных дам,—хотя только королевской крови. Еще недавно вы навестили за морем вашу старую любовь, королеву Элленор. Не споете ли нам ту воинственную песню, которую вы напевали в сумерки на ушко добродетельной супруге короля Генриха?»

«Этого не споешь и не расскажешь!—презрительно ответил неистовый; — два слова шепнул я ей и два других — ее сыну, молодому королю Генриху; семя брошено в землю, кровавая жатва ждет впереди! Клянусь крылами Люцифера, я завлеку короля Генриха в кольца дракона, более ядовитого, чем тот, который удавил жреца Лаокоона и его сыновей *)».

Я не мог отвести глаз от этого человека, который, к моему ужасу, повернувшись теперь в сторону монастыря, — цели нашей поездки, — посылал вдаль приветствия обеими руками. Не удивляйтесь: я знал, кто ему при этом мерещился:—«Там молится некто, умеющий ненавидеть еще лучше, чем я! Привет тебе, сотоварищ!»

И он торжественно осушил полную чашу за того, далекого, кто носился перед его взором. «Ты, молчаливый, в тиши ведущий свои подкопы человек! Ты терпишь страдания, как твой учитель,

*) Троянский жрец Лаокоон и его сыновья были убиты, по преданию, огромными змеями, по приказанию бога Аполлона, за то, что предупредили троянцев о грозящей им опасности.

ты дал бы умертвить себя, как и он: ты думаешь, что служишь любви, но ненависть — сильнее любви, и смерть твоя, как и смерть твоего Бога, — проклятие для человечества! Епископ, побьемся об заклад: кто из нас двоих глубже ввергнет в преисподнюю короля Генриха Английского. Я разыщу его там и, упершись коленом в его горло, запою такую победную песнь, что раздадутся круги ада, осужденные превратятся в исполинов и все, что повисло над адом, рассыпется в прах!»

У меня волосы стали дыбом от этих ужасных богохульственных слов; как будто кроткий пеликан растерзал собственную грудь не во имя любви и не нам во спасение. Провансальских же рыцарей, привыкших к подобным еретическим шуткам, все это мало задевало; зато они всячески гадали, кто бы мог быть тем товарищем сеньора Бертрана по ненависти.

Вслед затем разговор перескочил на странное знамение, напугавшее недавно жителей Арля. На тамошнем римском форуме объявилась мраморная женская голова с потухшими очами и с выражением смертной тоски на устах; если же всматриваться в ее переплетающиеся кудри, то они оказываются ехиднами с высунутыми жалами. Народ полагает, что этот скорбный лик означает приближение великого мора в их солнечных странах.

Все эти грядущие бедствия и теперешнее горе моего короля так меня разжалобили, что я не выдержал и испустил тяжкий вздох. Рыцари, не обращавшие до сих пор на меня внимания, с изумлением посмотрели в мою сторону. Тут я поднялся от своего стола и прошел мимо них моей тяжелой походкой конного воина, бросив им честное швабское «помогай Бог!» Они, как люди вежливые, не замедлили ответить любезным кивком головы. Но, когда я, поднявшись по лестнице, чтобы разбудить принца Ричарда, посмотрел на них сверху, а они в это время поспешно вскакивали на коней, чтобы уехать с тою же стремительностью, с какой приехали, то их несдержанный на язык предводитель успел еще обронить дерзкое словечко за счет моего швабского вздоха. Рыцари ускакали под звонкие раскаты своего южного смеха».

Благочестивый господин Буркхард, слыша богохульственные речи этого чужеземца, не раз осеял себя крестным знаменем. Наконец, он заметил в раздумьи:

— Серный запах, исходящий от этих речей, Ганс, ясно говорит тебе, с кем ты оказался под одной крышей в той французской харчевне. Для меня нет сомнения, кем был одержим и вдохновляем этот странствующий рыцарь, — не кем иным, как нечистым, сызначала мятежником убийцей. Поэтому-то он и знал наперед о му-

ченической смерти сэра Томаса, и я опасаясь, что в той же мере исполнится предсказание этого рокового человека и по части грозящих тем южным странам опустошений, на что указывает, быть может, и женщина-страшилище, вырытая из земли. Те берега кишат, как гласит молва, еретиками всех толков, в особенности закоренелыми манихейцами. Я миролюбив, благорасположен к людям и радуюсь, когда могу отпустить грехи простительные. Но здесь отрицается сама благодать, и я вправду не поставил бы в упрек духовным и светским владыкам, если бы они об'единились, чтобы вырвать из христианской среды этих закоснелых, дабы самая память о них исчезла в их родной земле. Однако, лучше нам не задерживаться на этих прискорбных предметах. Ганс, расскажи мне, сопутствовало ли благословение Божие поездке принца Ричарда? Он единственный из всех твоих англичан, к которому лежит моя душа.

«Я с трудом поспевал за быстроногим буланым Львиного Сердца, — с готовностью возобновил свой рассказ арбалетчик, — ибо жажда видеть сэра Томаса росла у принца с каждым часом; и он едва мог совладать с нею, когда башни монастыря, скрывавшего в себе примаса, стали вырастать на ярко-голубом небе, а окружавшие его стены засияли подробно небесному граду.

Зная Львиное Сердце и бурную порывистость

его чувств, я стал умолять принца пустить меня вперед на разведки, на что он, хотя и нехотя и с бранью, но все же, наконец, согласился.

Брат-привратник отнесся к моим расспросам без подозрительности; когда же я назвал имя сэра Томаса, то он сделал движение, выражавшее столь глубокое почтение, и на лице его отпечатлелось такое благоговение, что мне сразу стало ясно, каким высоким почетом и какой славой святого окружен здесь канцлер. Привратник сказал мне, что примас находится в церкви, и он не осмеливается,—да это было бы и кощунством,—тревожить его в молитве.

Тем временем монах показал мне келью с голыми стенами и шершавый дикий камень, на котором преклонял во сне свою голову изгнанник епископского дворца в Кентербери. Эта жесткая подушка меня не мало поразила, ибо я знал, какою природной чувствительностью и нежным телосложением отличался канцлер. Наконец, так как дело не подвигалось, и молитве святого человека не предвиделось конца, привратник позволил мне войти в церковь, взяв с меня обещание вести себя тихо и сдержанно, покуда молящийся не заметит моего присутствия. Вот я осторожно пробрался между колоннами и увидел сэра Томаса, стоявшего у церковного кресла с высокой спинкой и погруженного скорее в раздумье, нежели в молитву. Не видав уже несколько

лет этого удивительного человека, я был испуган противоестественной худобой его лица и глубокими скорбными очами, взгляд которых был устремлен более в себя, чем наружу.

Я опустился на колени перед дарохранительницей, под сенью главного алтаря, и вознес мои молитвы ко Всевышнему, не спуская глаз с сэра Томаса. Заметил ли он мое присутствие или нет, для меня осталось неясным, ибо ни одна черта в нем не дрогнула, но когда, после порядочного промежутка времени, я поднялся с колен, канцлер, не поворачиваясь и не меняя выражения лица, обратился ко мне с вопросом: «Как поживает мой король и повелитель?» совершенно тем же голосом, каким он спрашивал меня, бывало, при встречах в Виндзоре на пороге королевского покоя. Тут горячие слезы навернулись у меня на глазах.

Примас же тихо спустился по ступеням, сделал мне рукою знак следовать за собою и плавной поступью направился, идя предо мною, в монастырский сад, разбитый в виде веселого зеленого прямоугольника с цветущими розовыми кустами и охваченный со всех сторон крытой галлереей искусной постройки в новейшем вкусе. Хотя там, за оградой, уже опадали листья, но сюда, в этот зеленый уголок, за которым ухаживали заботливые монахи, увядание и умирание природы не находило еще доступа.

Примас опустился на каменную скамью между пышными кустарниками и повторил свой вопрос: «Ну, что мой король и повелитель?»

«Сэр Томас,—ответил я,—его удел общий со всеми людьми, да и того плачевнее. Король неузнаваем. Если бы вы увидали его, вам стало бы больно за него, и все ваше нутро содрогнулось бы от жалости».

Тут я ему изобразил в живых выражениях состояние упадка и расстройства, в котором ныне находится столь величественный прежде король. Мне было о чем порассказать ему.

Господин мой! он внимал мне без злорадства и без видимого сочувствия, но не проявляя, вместе с тем, отчужденности и равнодушия,—а так, как принимают весть о случившемся несчастье, которое давно предвидели и к которому давно приготовились.

Таково было его молчание. Но мне почудилось, что сердце его смягчилось, поэтому, набравшись смелости, я воскликнул: «Сэр Томас, ты человек святой и христианин, умерщвляющий свою плоть. Если бы вы в состоянии были простить королю его прегрешения: все и теперь еще могло бы хорошо кончиться!»

Но примас безмолствовал.

«Простите королю, что вы лишились благодати!»

Тут сэр Томас поник головой и загадочно ответил: «Плохо, когда лишаются сладостной благодати... Боже избави от этого!..»

В это мгновение до нас донеслись жалобы и брань монахов, которые старались задержать при входе молодого рыцаря и цеплялись за его руки. Это был Львиное Сердце; раздосадованный оживлением и непривычной для него одеждой, он ворвался в галерею, захватив привратника врасплох. Стряхнув с себя монахов, он бросился к ногам примаса с возгласом: «Отец мой, отец мой, они не хотели допустить меня к тебе!»

Тот некоторое время, молча, смотрел на принца Ричарда. Затем нежным движением руки он откинул у него со лба спутанные, влажные от пота белокурые волосы и пригладил их с материнской лаской. Когда я увидел это проявление его нежной любви к Львиному Сердцу, я счел наше дело выигранным и скромно удалился под своды галереи, предоставив обоим их ангелам-хранителям и святым заступникам.

Усевшись на широкую каменную плиту под аркой оконного отверстия, разделенного пополам пучком тонких мраморных прутьев, я от времени до времени бросал испытующий взгляд на зеленую плиточку в сторону обоих собеседников. Эта галерея была богато украшена изваяниями и, как уже сказано, построена в новейшем вкусе. Ее колонны были увенчаны пышными кати-

телями, на которых чередовались изображения обитателей небес и преисподней: то ангелы, поющие псалмы, то забавные или злобно осклабившиеся оборотни. Но я мало уделял внимания всем этим украшениям, ибо взоры мои все снова и снова притягивала та каменная скамья в монастырском саду.

Королевский сын обнимал колена канцлера, а тот, казалось, лишь слабо этому сопротивлялся до тех пор, покуда принц Ричард, с пылающими щеками, не высказал своей заветной просьбы и не прижался еще горячее к коленам канцлера. Тут сэр Томас отвернулся с печальным лицом, но принц не отступался от него, покуда тот не согласился на его просьбу. Я слышал, как юноша в этой борьбе за душу своего отца неоднократно произносил слово «baiser» и догадался, что дело идет о том поцелуе примирения от лица церкви, который должен был быть обещан принцу Ричарду примасом и которым должна была начаться и быть освящена беседа. Спустя порядочный промежуток времени, оба они прошли рука об руку мимо меня по галлерее—цветущий юноша по левую сторону от изможденного епископа. Я последовал за ними. Еще в пределах галлерей они расстались; принц Ричард склонился к руке канцлера и оросил ее слезами детской благодарности. И мое сердце воистину возликовало от радости при мысли, что достойные жалости стра-

дания моего короля приходят к концу. Но тут я заметил,—увы,—над головами обоих маленькое каменное чудище, скорчившееся на карнизе: своей жабьей лапкой оно нацеливалось в их сторону, высовывая при этом язык. Мне это не понравилось, хотя это и было делом случая. Но я все же предпочел бы, чтобы принц и канцлер расстались у следующей колонны, там, где играющий на арфе ангел простирал свои лебединые крылья.

Принц Ричард послал меня с письмом к отцу, велел мне скакать, сломя голову. В этом письме он умолял короля, во имя страстей Господних и его собственного блага, ускорить свидание с примасом, согласие на которое удалось вымолить его сыну.

Как только сир Генрих осведомился из письма, что ему обещан примасом священный поцелуй мира, он перестал находить себе место в своем замке. Он покинул своих рыцарей и бранил своих слуг, покуда, малое время спустя, мы не понеслись во весь опор,—так горячо жаждал он прикосновения уст, которые должны утолить,—как он твердо верил,—его долголетние муки и даровать его жизни мир.

Это произошло в пасмурный день, что король и примас встретились на унылой равнине. Сэр Томас, прибывший с маленькой свитой, с трудом сошел с коня; он исхудал и покачивался,

как иссохший на солнце и ветру тростник. Король бросился к нему, чтобы поддержать его стремя, но монахи успели уже принять примаса в свои руки. Почтительно, но с видом усталого человека, стоял он перед моим королем. Его глаза глядели из глубоких впадин, и в голосе слышалась дрожь, когда он обратился к королю с первыми словами: «Государь, пусть отойдут от нас все посторонние, дабы наша тайна не была никем подслушана». Он дал знак своим монахам отойти, а король с поспешной готовностью приказал удалиться своим рыцарям,—ибо он жаждал поцелуя примирения. Я взял под уздцы обеих лошадей и отошел с ними на небольшое расстояние от короля и примаса, тогда как все прочие, монахи и рыцари, разошлись в разные стороны, пожалуй, что на выстрел из лука. Тут сир Генрих уже не в силах был больше сдерживаться: вытянув губы, он приблизил свое опухшее, со следами разрушения, лицо к изможденному святому лику. Оно, это лицо моего короля, было безобразным, отталкивающим, но, вместе с тем, столь трогательным и преисполненным такого страстного влечения, как будто сир Генрих жаждал вкусить святого причастия.

Что тут случилось, что произошло в душе канцлера,—кто может сказать это? Я полагаю, что такое сочетание безобразия и вожделения напомнило ему про убийство его ребенка. Он с

омерзением отвратил свои губы от короля и с ужасом остановил взгляд на лице, находившемся перед ним, словно видел в нем воплощение всяческого насилия и мерзости.

Но король в своем слепом влечении схватил канцлера за руки и стал своими губами искать его губы, покуда тот с криком ужаса не оттолкнул его от себя.

Как скоро сир Генрих с болью и гневом увидел, что примас, вопреки данному слову, не может с ним примириться, душа его сразу ожесточилась, и у него с отчаянием вырвались слова: «Что мне до тебя? Зачем преследуешь ты мою душу?»

Канцлер же снова овладел собой, и к нему вернулась его уверенность. Он ответил со спокойным величием: «Тебе известна, о, государь, моя природа, заставляющая меня идти по стопам наиболее могущественного владыки. Я не уверен, что Назареянин, которому я принадлежу и примеру которого стремлюсь подражать, мог бы себя заставить прикоснуться к твоим мерзостным губам. Он дал поцелуй предателю Иуде, Его продавшему и ввергнувшему в смерть Его — воплощенную невинность и любовь,—но поцеловал ли бы Он губы, отравившие душу его ребенка и сгубившие его невинное тело,—в этом я сомневаюсь. И так как Он к тому же еще и Бог,—как учит Церковь,—то простить без тяжкой и полной

меры наказания зарезавшему Его овцу, Он не может, ибо нельзя Ему отречься от Самого Себя, то-есть, от справедливости, составляющей самое Его существо. А мне не более, как человеку, с моей языческой кровью, и притом вовсе не такому спокойному, каким кажусь,—как мне заставить себя сделать то, что не под силу моему учителю? И все же это должно совершиться,—но только за выкуп. Душа за душу. Сосредоточь свое внимание, король, выслушай меня и поразмысли!

«Видишь ли, у меня есть еще дети,—твои саксы, души коих ты мне некогда доверил.

«Но как пасти их изгнанному пастырю? Как могут преуспевать эти души, когда тела их составляют собственность твоих волков, твоих ненасытных баронов? С тех пор, как твой предок, Завоеватель, сделал тысячи покоренных саксов подвластными горсти железных норманнов, обездоленный люд вынужден жить на чужой земле, не принадлежащей ему. Ты калечишь мужчин за убийство какой-нибудь вредной твари, в силу твоих варварских охотничьих законов; ты загоняешь юношей и девушек с солнца, с унаследованных плодородных земель, которые им бы мирно обрабатывать и населять, и ввергаешь их в тень монастырей.

«Не препятствуй мне высказаться, выслушай меня; я хочу создать для тебя и для твоего

сына, который остается при тебе, народ,—не путем завоевания и насилия, а с помощью мудрости и справедливости. Я хочу покорить его кротким епископским жезлом. Я имею власть над папшиами, и потому мне не страшны мечи твоих норманнов. В эти дни слепой ярости и грубой хитрости я все же остаюсь разумнейшим из смертных.

«О, мой государь, как безрассудно ты поступил, когда, желая подорвать мою власть, короновал своего сына Генриха,—да и как несправедливо! Ведь ты сам сделал меня своим примасом, и твоим примасом я останусь вовеки.

«Смотри,—он вынул свиток, спрятанный на груди,—вот отлучение римского папы, которое он бросает тебе в лицо за то, что ты посягнул на права моего епископата. Это нечистое пламя, и не я накликал его на твою голову. Сейчас святой отец—наемник твоего царственного брата во Франции, как некогда, когда я еще служил тебе, он был твоим наемником. Ты не разгадал души латинца и не во-время поскупился на деньги. Отдайся, мой король и повелитель, снова в мои руки, и я растопчу этот продажный факел!

«Я сам впоследствии откажусь от прав моего епископата, когда использую их, дабы каждому в твоём королевстве предоставить подобающее ему место и право, а для тебя—создать народ.

Ибо я не холоп латинца, а слуга и брат Назагеянина».

Лицо короля при этих изумительных словах то вспыхивало, то бледнело; временами казалось, что он уже побежден, но тут в нем возмущалась его королевская гордость, не желавшая склоняться на сторону епископа и отдаваться во власть его мудрости; враждебность и ужас снова брали верх, и душа его продолжала оставаться раздвоенной.

«Смотри, мои стопы утомлены, — продолжал сэр Томас мягким голосом, — я — угасающий пламень, но все же, мне думается, стоит еще жить, чтобы в этот век ненависти и раздоров построить государство, в котором ни Бог, ни человек не подвергались бы оплеванию и избиению.

«Наследник Завоевателя, хочешь ли ты стать справедливым королем? Желает ли ты, чтобы твой последний час был более мирным, чем твоих предков? Тебе угрожает иное мщение, не чета моему. — Тут сэр Томас поднял взгляд в пустое пространство над головой короля, где я мысленно узрел руку с обнаженным мечом. — Я отведу от тебя это мщение, я охраню тебя, я буду тебе теперь лучшим слугой, чем некогда твой честолюбивый канцлер. Я твой друг, ибо, видишь ли, твой сын Ричард просил за тебя».

Эта прекрасная и благочестивая речь, быть может, покорила бы моего бедного короля, если

бы умный сэр Томас не припутал к делу Львиного Сердца.

Мой король Генрих, хотя и любил своего третьего сына больше всего на свете, тем не менее, со времени отпадения и измены принцев Генриха и Готфрида, столь погрешивших против сыновних чувств, стал подозрительным по отношению к собственной плоти и крови. Его разгневало в этот час заступничество его сына Ричарда, и на сердце у него стало накипать и нарастать черное недоверие.

«К чему ты призываешь меня, Томас?—начал он.—Мне гневить моих норманнов? Что ты задумал? Даровать свободу моим саксонским холопам? Доброе ли у тебя на уме?.. Уж не хочешь ли ты меня погубить?

Он наморщил лоб, как будто с трудом собираясь с мыслями, но затем на него внезапно нахлынул гнев, туманящий дух:

«Я узнаю тебя,—воскликнул он.—Ты хочешь погубить меня и мое королевство!.. С тех пор, как Грация,—будь она проклята, — умерла, ты только и думаешь днем и ночью, как бы извести меня, ты, лицемер, ты, губитель, ты, мстительный язычник!»

Лицо сэра Томаса озарилось ангельским светом, и он произнес с сияющими очами:

«Я отпущу тебе смерть Благодати и твою хулу, если ты дашь свободу моим братьям саксам и вступишь отныне на истинно-человеческий и божеский путь. Желаешь ты этого, король Генрих?»

В это мгновение толпа норманских баронов стала выказывать беспокойство; рыцарей раздражало, что король ведет так долго переговоры с опальным епископом, ум которого возбуждал в них боязнь; к тому же, их почтение перед государем заметно поуменьшилось. Бароны бряцали копьями и щитами, прогуливали своих коней и кричали:

„Finissez, seigneur Roi, finissez!» (Кончайте, государы!)

Сир Генрих испугался и сделал примасу знак поскорее его покинуть.

«Прочь от меня, иди назад в твой французский монастырь! И чтобы нога твоя не ступала больше на английскую землю, ты, совратитель народа! Ни здесь, ни там я не желаю больше встречаться и иметь с тобою дело, ты, колдун, ты, каркающий ворон!»

Лицо канцлера помертвело. Он ответил мягким голосом:

«Я не знаю, последую ли я твоим указаниям; ибо долго продолжались мои странствования,— и пастырь, и стадо стремятся ныне друг к другу. К тому же, меня тянет к месту моего успо-

коения; поэтому, о, государь, я не обещаю тебе быть послушным. Но не опасайся ничего с моей стороны. Мои стопы ищут лишь мира».

«Берегись, берегись, под страхом смерти, ступить на английскую землю!»—вскричал вне себя король с таким порывистым и резким движением, что принц Ричард Львиное Сердце, державшийся вблизи норманских рыцарей и внимательно следивший за обоими договаривавшимися, бросился к ним во весь опор, с оторопевшим лицом.

А Томас Бекет, со скорбной усмешкой, отвернулся от короля.

«Мне кажется, что близок час моего освобождения; откуда бы иначе взяться у меня, нерешительного, мужеству, чтобы поднять голову и разгневать моего короля?»

Так расстались друг с другом сир Генрих и сэр Томас, без примирения, к которому, однако, честно оба стремились».

ХП.

«Когда мы, молчаливые и задумчивые, покидали унылую равнину—место отвергнутого поцелуя, — и ехали в норманскую крепость Руан, резкий зимний воздух, после теплой, необычайно затянувшейся поздней осени, гнал нам в лицо первые хлопья снега. Тоска сжимала мне грудь, словно слишком тесный панцырь, ибо я

считал дело моего короля проигранным; мне хорошо было известно, как я того и не скрывал от принца Ричарда,—что лед, тающий под лучами доброжелательства, становится вдвое тверже, когда его снова прохватит морозом.

Я собственными глазами видел, как примас во имя любви к Львиному Сердцу, вопреки своему самому сокровенному существу, пытался прикоснуться к губам моего короля и как он не в силах был этого сделать.

Окружённый стаями гайок и ворон, скакал сир Генрих по равнине, медленно покрывавшейся снегом.

И вот, на одном из перекрестков, принц Ричард пришпорил своего буланого, которого он до сих пор во время езды придерживал, вопреки своему обыкновению, в задних рядах. Поровнявшись с берберийским жеребцом короля, он распростился с отцом, опустив голову, с выражением задумчивости и скрытности, чего никогда не приходилось видеть на его мужественном лице. Он извинился, ссылаясь на личные дела и затруднения в своем графстве Пуату, и мне стало ясно, что он, хотя и не подымет знамя мятежа вместе со своими братьями, но будет все же в этом споре держаться в стороне.

В городе Руане сир Генрих вел строгую жизнь и предавался христианскому сокрушению вплоть до Рождества, которое было не за горами. Он

прилежно посещал обедни, изнурял себя постом, ибо имел намерение поутру в святой праздник вкусить причастия.

Так он и сделал, с благоговением и радостью. Затем он сел вместе со своими знатными приближенными за богато уставленный стол, чтобы усладить свое изнуренное чрево. Праздничная трапеза подходила к середине; тут у дьявола зачесались руки, и он послал нарушителя мира. Со шпорами, в ботфортах,—ибо он только что скатился с седла,—епископ иоркский, тяжело дыша, прошел через зал и остановился, красный, как индюк, с гневными движениями, перед королем, восседавшим за столом. Этот приземистый, вспыльчивый норманн своею суетливостью и беспокоейством движений мог вывести из равновесия и более спокойного и здорового человека, не говоря уже о моем короле. Рядом с епископом появился один из его клериков, человек с худощавым лицом, преисполненным разума, который своими рассудительными речами старался успокоить его и ввести в берега.

«Помогите мне, правосудный король Генрих,—насаживался коротыш. — Мало того, что сам святой отец в Риме предал меня отлучению,—Томас Бекет,—да поразит его Господь чумою!—тайком перевез на себе папскую буллу г ваше английское королевство,—и сейчас вот, в святой праздник ее торжественно провозглашают

во всех церквях, где только саксы служат обедни, мне и моему королю на посрамление. И ведь как этот сын злобы свершил свой въезд в Кентербери? Как победитель, в колеснице, запряженной конями, в сопровождении длинного шествия саксов!»

Тут рассудительному клерику удалось вставить свое слово.

«Дело было не так, — возразил он. — Примаc в'ехал на кроткой ослице, но правда, что народ расстилал перед ним свои одежды и усыпал его путь зеленью, какая только оказалась по зимнему времени под рукою. Изгнанник возвратился в Кентербери человеком утомленным и с тех пор не покидает своего епископского дворца и даже своих покоев. Правда, что сэр Томас привез с собой спрятанными в одежде две папских буллы, но одну из них он бросил в огонь очага, другую же только после сопротивления позволил исторгнуть у себя своим воинственным клерикам. Сэр Томас близок к угасанию, и сама природа чабавит скоро короля Генриха от его мучителя и врага. Вот трезвая истина».

Один из домашних примаса, человек, обязанный клерику, передал это ему по всей правде.

Но прозвучавший голос разума был заглушен неистовыми словами епископа: «Томас близок к угасанию! — закричал он. — Клянусь моей епископской митрой, этого живучего человека хватит на

три века, чтобы навредить твоему величеству! Томас—приносит мир! Войну несет он с собой в Англию, всюду по его пути саксы подымали шум и хватались за топоры. Да, так передавали мне очевидцы!»

Мне и тогда уже казалось это делом невозможным, насколько я знал ослабленных саксов. Но бешеные слова епископа едва долетали до моих ушей, ибо все мое внимание было приковано к королю, у которого накапливалось на душе.

Ослепленный гневом, он не усвоил поправок рассудительного клерика.

И вот вспыхнувшее, наконец, пламя вырвалось наружу. Сир Генрих, которого равным образом возмущал как мятежный дух, так и смирение епископа, в безрассудном гневе вскочил со своего места и таким резким движением оттолкнул от себя кубок, что он покатился далеко по столу, и вино красными ручьями разлилось по скатерти, словно кровь по снегу.

«Я запретил ему ступать на мою землю!—воскликнул король дрожащим голосом.—Я знаю, он прячет на своей груди под одеждой еще одно папское отлучение, направленное против меня, его короля. Он сам показывал его мне, злодей!»

Тут король, с отчаянием стиснув кулаки, стал изливаться в жалобах:

«Я наряжал и украшал его, как возлюбленную, он ел хлеб из моих рук, словно ласкаю.

шаяся собаченка, и этот дьявол неблагодарности попирает теперь меня своими ногами, разоряет мой дом и губит мое королевство!»

И он, обеда диким взглядом своих притихших сотрапезников, бросил рыцарям в лицо клеймящие слова:

«Я откармливаю холопов! Они сосут соки моих земель, сидят, развалившись, за моим обильным столом, и ни одному из этих обжор и гуляк не хватает мужества избавить меня от изменника!»

Никто не осмеливался заговорить с сиром Генрихом, когда он, с блуждающими глазами, расхаживал взад и вперед по залу. Большая часть королевских гостей поднялась со своих мест и обступила епископа, засыпая его вопросами и упреками.

Продолжая стоять за креслом короля, я увидал на другом конце внезапно поредевшего стола четырех сеньоров, сидящих вместе; согласные между собою в своем гневе, они обменивались взглядами и шопотом перекидывались взволнованными словами, как будто держа тайный совет. Их имена, господин мой, вам известны, ибо молва разнесла их во все концы света. То злосчастнейшие из живущих и каждый христианин в Англии отрещивается от них. Это, во-первых, сэр Вильгельм Траси, насмешник, затем сэр Ричард Бретонский, сэр Ринальд Краси-

мый, любимец женщин, и, наконец, последний, сэр Гуг Молчаливый.

Я стоял слишком далеко, чтобы разобрать их слова, но движения их ясно сами за себя говорили.

Я еще сейчас вижу, как сэр Гуг кусал себе губы, как сэр Ринальд накручивал свои мягкие длинные кудри на палец и рвал их, между тем, как лоб сэра Ричарда гнев заливал багровым румянцем, а насмешливые губы сэра Вильгельма Траси, на которых постоянно, бывало, играл смех, искривились горьчайшей усмешкой. Затем сеньоры пришли, казалось, между собою к соглашению и скрылись все разом через заднюю дверь.

Я подошел к окну и увидел, с каким нетерпением те четверо поджидали во дворе замка своих коней и как поспешно вскочили на них.

Когда вечером того недоброго рождественского дня я вошел в покой моего короля, чтобы принять от него распоряжения по части завтрашней охоты, я нашел его, как это бывает обыкновенно с людьми вспыльчивыми, молчаливым и подавленным; поэтому я осмелится дать волю опасениям, лежавшим у меня на сердце

«Во время обеда, после вашей разящей речи,—начал я,—четверо из ваших сеньоров,—и я называл их,—поскакали во весь опор, полагая, что к берегу моря. Если в ваших гневных словах им послышалось желание или приказ... о, государь,

что тогда? Претвори они ваше слово в дело,— это не было бы вашей волей!..»

Король уставился на меня, с трудом собираясь с мыслями, и ничего не ответил.

«Клянусь пресвятыми яслями,—обратился я с предостерегающей мольбой, — это не какой-нибудь пустяк. Да сохранят вас все святые и ангелы от того, чтобы принять на свою душу мученика».

Тут король внезапно уразумел мои слова и схватил меня за плечо.

«Когда они уехали?—спросил он, хотя я ему только что это сказал.—Почему ты, ворон, не предупреждаешь своим карканьем во-время?»

«Еще не поздно, — ответил я без страха.— Взгляните на снежные тучи, надвигающиеся с севера. Море наверно бушует, и они встретят противный ветер».

«Так оседлай моего берберийца, — приказал король,—он мчится быстрее вихря. Нагони тех четырех и вороти их ко мне! Ты мне их догонишь, я этого хочу!»

«Государь, — сказал я,—они меня не послушают, ибо вы кровно задели их честь. Лучше уж я поеду другой дорогой, достигну берега, а в наиболее узком месте пролива, раздобуду самый быстроходный корабль,—чей бы он ни был,—доберусь до Кентербери раньше тех четырех, под-

гоняемых вашим гневом, и огражу вашим именем сэра Томаса от опасности.

«Это твое дело,—ответил он с угрозой,—но знай одно: я не хочу, чтобы примасу причинено было зло. Если хоть волос упадет с этой достойной головы, то ты мне ответишь за это и будешь болтаться у меня на первой виселице».

Я не нуждался в этой бессмысленной угрозе; никто не седлал никогда быстрее коня, никто не мчался неустоимее. По дороге я узнал, что те четверо направились в ближайшую гавань, называемую Гаванью Благодати, и поспешил наперерез через французские земли в Калэ, откуда меня быстроходный парусник в несколько часов доставил до английского берега. Посреди бушующих волн я пламенно молил Пресвятую Богородицу (и она вняла мне)—дать мне опередить четырех гневных сеньоров, хотя бы на двадцать Ave Maria* *).

На английской земле меня не раз окликали раз'езды вооруженных норманнов, ибо в стране было неспокойно и повсеместно ходила молва, что Примас окружает себя в Кентербери вооруженными саксами.

Подгоняемый этой тревогой, носившейся в самом воздухе, я с бешеной стремительностью

*) Приветствие ангела девице Марии: „Радуйся, благодатная, Господь с тобою“ и т. д. (Ев. от Луки гл. 28).

пришпоривал моего берберийца, припадая к развеваящейся гриве благородного животного. И все же мне казалось, что возвышающиеся над грудой домов башни собора в Кентербери, с которых я не сводил глаз, упорно не хотят вырастать.

Когда, наконец, обливаясь потом, я доскакал до городских стен, дорога перед воротами оказалась усыпанной свежесрубленным ельником и редкими березовыми ветвями, свидетелями мирного в'езда. Я соскочил с лошади и провел фыркающее животное по переулку в харчевню, где имел обыкновение останавливаться, ибо я нередко сопровождал моего короля в Кентербери, собор которого, только что оконченный постройкой, славился, как чудо нового зодчества. Хозяин харчевни, сакс, бывший, вместе с тем, и альдерманом *) Кентербери, как раз в это время предусмотрительно прикрывал ставнями ряд окон, выходявших на длинную главную улицу. Когда я спросил его, зачем он среди бела дня устраивает темноту, он сделал мне своей левой рукой знак замолчать, а правой подтолкнул меня к широкой скважине одного из оконных брусев. Я посмотрел сквозь щель и увидел тех четырех королевских гостей, раз'езжающих в

*) Выборное лицо, соотвествующее нашему городскому голове.

полном вооружении взад и вперед по улице и поднятыми мечами указывающих на окна и ворота.

«Всем сидеть по домам, никто не смей выходить на улицу!»—приказал сэр Вильгельм Тра-си, гарцовавший на своем коне взад и вперед перед домом альдермана; животное, фыркая, выпускало из своих ноздрей клубы пара в холодный зимний воздух.

Поворотив затем коня, сеньор повторил свой приказ, и не с тем презрением в голосе, с каким высокомерные норманны имеют обыкновение обращаться с саксами, а с торжественным призывом, словно герольд. Перепуганные граждане подчинились приказу: тут закрывалась лавочка, там торговка с'естными припасами с жалобами убирала свои корзины; еще подальше, внизу, перепуганная мать хватала на руки свое игравшее на улице дитя и спешила укрыться с ним в дом. Остроумного сэра Вильгельма нельзя было узнать. Строго и безрадостно смотрели его глаза из-под черных бровей, выделяясь на бледном лице. Мне стало ясно, что все четверо сеньоров по дороге между собою сговорились и что они собираются стереть позорящие, жгущие им душу слова короля не посредством гневного убийства, а путем суда и смертного приговора.

Я, с своей стороны, стал держать совет с альдерманом и, объявив ему настоящую, последнюю

волю моего короля и повелителя, приказал, как скоро четверо сеньоров удалятся, приободрить своих сограждан, вооружить их и ждать моих указаний.

Затем я боковым переулочком пробрался к епископскому замку. Там меня, как королевского слугу и человека, хорошо известного в Англии, пропустили беспрепятственно и даже с готовностью, видя во мне помощника в беде.

Они ввели меня в великолепный, приятно нагретый покой, где примас сидел за трапезой в кругу многочисленных клериков и прислуживающей братии. Я спрятался за их спины, с нетерпением выжидая той минуты, когда можно будет приблизиться к сэру Томасу.

Сам он не притрагивался к пище, а сидел с закрытыми глазами, прислонив к спинке епископского кресла свою голову, напоминавшую призрак, и слушал, как некий бедный, благочестивый житель Кентербери дрожащим голосом докладывал ему о появлении четырех рыцарей.

Доказав примасу грозящую опасность, этот сакс стал заклинять его бегством спасти свою жизнь. Боязливый шопот пронесся среди сотрапезников примаса.

Сэр Томас не пошевелился. «Довольно!»—спокойно произнес он, благословил и отпустил этого плачущего человека. Затем он сказал:—«Поддай мне чашу»,—и молодой клерик, к которому

он обратился, светлокудрый мальчик, в белой ниспадающей складками одежде, подал ему хрустальную чашу, наполненную водой, которую он медленно осушил.

Тут я выступил вперед и бросился к ногам примаса.

«Досточтимый отец мой, я к вам от моего короля,—он тревожится за вас!»—вскричал я.—Он послал меня на быстроходных кораблях, на взмыленных конях, дабы я прикрыл вас своим телом и поставил под защиту его королевского могущества. Вставайте, благочестивые братья,—обратился я к его клерикам,—подымитесь и помогите мне! Отведите вашего епископа в самый отдаленный и недоступный из его покоев. А вы, остальные, помогите мне запереть ворота и заградить входы. Пусть уляжется первая вспышка у тех четырех сеньоров и отражен будет первый приступ,—и тогда, с помощью жителей Кентербери я доставлю примаса до ближайшего королевского замка. Сэр Томас, во имя Пречистой Матери, не противьтесь! Отдайтесь под защиту короля,—и ни один волос не упадет с вашей головы».

Не двигаясь с места, все клерики устремили свои взоры на примаса; последний же несколькими спокойными словами свел на нет мою попытку.

«Лучше тебя известно мне желание твоего государя. Ясно читаю я в его сердце! Да исполнится на мне воля Предвечного и решение моего короля».

«Клянусь пятью пречистыми ранами!—закричал я, выходя из себя,—король не желает, чтобы вас здесь удавили! Его ли это вина, если вы сознательным и преступным упорством хотите погубить свое тело и душу короля?»

Тут сэр Томас внезапно обернулся ко мне и хлестнул по мне библейскими словами: «Отыди, лукавец и злой раб! Ибо ты досаждаешь мне!»

В страхе я вскочил на ноги и скрылся за спинами клериков. Я был огорчен, а еще более того рассержен, что сэр Томас, до сих пор меня щадивший, обозвал меня такими злыми, постыдными именами в тот самый миг, когда обнаружился его истинные помыслы; как будто бы я уже издавна был архиплутом. Разве же это не было несправедливостью? Я предоставляю вам самому о том судить теперь, когда вам известна моя жизнь с молодых лет, ибо я не утаил от вас ни одной из моих слабых сторон.

Не успел я еще справиться с болью, вызванной незаслуженным ударом, как двери раскрылись и все четыре норманских барона вошли в зал, не имея на себе ни доспехов, ни оружия, в придворной одежде. С безукоризненной вежливостью, но с враждебными лицами поздоровав-

лись они с примасом. При их появлении, епископ выпрямился в своем кресле, и я был поражен величием его осанки: всякая немощь, казалось, от него отлетела. Он ответил с тем же достоинством на привет своих зловещих гостей и легким движением руки пригласил их к своему столу. Те сели.

«Как поживает мой король и повелитель?»—спросил он их через некоторое время и не получил ответа.

«Заключен ли мир?»—спросил он снова.

Но те четверо только смотрели на епископа,—одни исподлобья, грозно нахмурив брови, другие—смущенно косясь на него. Неразборчивые звуки слетели с их губ.

Первым опомнился сэр Ричард, прозванный за свой непобедимый кулак „Frappedur“, что значит по вашему «крепкобойный».

«От имени короля явились мы сюда»,—сказал он.

«Я верю вам,—ответил примас.—Вам, приближенным, понятны едва заметные желания короля. И вы творите его волю».

«Сними отлучение с епископа Йоркского, примас, или уберись из Англии!»—продолжал сеньор Frappedur, а Молчаливый вторил ему:

«Сними отлучение, или уберись!»

«Не я один, ныне также и другой, святой отец в Риме, предал его отлучению—возразил сэр

Томас спокойно.—К нему пусть обратится мой брат из Иорка: меня это не может более касаться. Я помышляю лишь о мире».

«Так легко тебе от нас не увернуться, ты, двуязычный!—напал на примаса Вильгельм Траси, наиболее ловкий на язык из всех четырех.—Сними с епископа отлучение, которым ты его поразил. Оно жжет его сильнее, чем то, римское. Довольно нам твоих тонких различий и ухищрений. Повинуйся своему королю и сюзерену с прямотою и верностью, как это делаем все мы. Разве ты не детище его благоволения? Кто вознес тебя из ничтожества, кто сделал из сакса человека? Откуда это высокое могущество твоего кресла? Ты, неблагодарный, ты, злонамеренный! Отвечай и признавайся: из чьих рук получил ты его?»

Тут сэр Томас вскричал таким пронизывающим голосом, что слова его разнеслись по всему залу:

«Из рук моего короля для суда над ним!»

Все четверо пришли в сильное возмущение от этих жестоких слов. Ринальд Красивый принялся теревить пальцы своих перчаток, которые он до сих пор держал, играючи, в левой руке. Сэр Ричард Ffarredur с такой силой отпихнул свой стул, действуя спиной и ногами, что дуб затрещал, а Молчаливый сказал: «Кончайте!»

Сэр Томас же произнес с величием святого:

«Кажется, вы угрожаете мне, храбрые сеньоры? Чего хочет мой король от меня? То, что его, ему и отдам. Мое тело? Вот оно, берите его; совесть же моя не принадлежит ни ему, ни мне».

«Не забудем рыцарских обычаев,—сказал сэр Вильгельм.—Сеньоры! Предоставьте мне допрос».

Он поднялся и, смертельно бледный, стал перед примасом.

«Томас Бекет, снимешь ли ты отлучение с епископа Иорского? Говори!»

Но сэр Томас безмолствовал и тем обрек себя на смерть.

«Томас Бекет, ты, наперекор воле своего короля и вопреки решению парламента, снова ступил на английскую землю. Удались из Англии! Тебе обеспечен свободный проезд к морю. Когда удалишься ты? Говори!»

Но сэр Томас безмолствовал.

Сэр Вильгельм ждал некоторое время ответа и, в заключение, мрачно произнес:

«Это вероломство. Кровь твоя на твою голову!»

Все четверо вышли из зала мерными шагами. Я знал, что они пошли вооружаться.

Тут наступила такая тишина, что я слышал, как сердце молотом стучало у меня в груди. И вот, посреди молчания раздался сильный, твердый голос,—я не сразу узнал его,—это был голос сэра Томаса. С пламенной молитвой обратился он к

Распятию, висевшему против него на стене: «Царь вся скорби, избери это тело своей обителью!»

Снова долгое время я слышал лишь удары своего сердца. Тут сэр Томас заговорил вторично, простерев пред собою свои худые руки:

«Прободи их! Удостой меня страстей Твоих!»

При этих словах меня охватил благоговейный трепет, и я не дерзал дальше смотреть в лицо сэра Томаса, страшась, что Трехликий уже вселился в его тело и сияет во всем своем величии из его очей.

Но, заслыша в проходе шум оружия, я пришел в себя и, бросившись к дверям, задвинул все засовы. Выведенное моими действиями из своего сонного оцепенения все сборище монахов окружило примаса: одни падали к его ногам, другие, жаждавшие увести его, хватали за руки, третьи обнимали его вокруг стана, желая любовным насилием овладеть им и унести его отсюда.

Тем временем снаружи в двери раздались оглушительные удары топоров.

Но примас не хотел подниматься с того места, где над ним вершили суд. Тут к нему подошел стройный дьякон, с умными глазами, и, приложив палец к губам, обратил его внимание на слабый звон маленького колокола, едва слышный среди всего этого шума. «Звонят к вечерне! Вас ждут, отец мой, в церкви!»—напомнил он

Томас Бекет беспрекословно поднялся, выстроилось шествие с распятием во главе, и примас двинулся по длинному проходу, ведущему через внутреннее помещение епископского дома к алтарю собора; я также пошел в ногу с монахами, певшими псалмы».

Здесь арбалетчик умолк; его взгляд остановился на песочных часах, стоявших рядом с ним на каменном выступе: там только что скатились из верхнего сосуда в нижний последние песчинки. Ганс перевернул часы и заметил:

«Сегодня годовщина того дня, когда под вечер, вот в этот самый час, сэр Томас свершал свой последний путь».

Достигнув в соборе алтаря, примас бросился перед ним на колени, окруженный тесным кольцом своих клериков; некоторые из них, стоявшие у сводчатого входа в алтарь кидали тревожные взгляды вдоль нефа *) по направлению к главному portalу, через который могли проникнуть норманны,—ибо дьякон избрал это убежище не по причине его защищенности, а в расчете на неприкосновенность святого места.

Я, в свою очередь, не выпускал из глаз портала, решив в последний миг, не обнажая меча против четырех сеньоров,—что мне, как слуге, возбранялось,—защитить своим телом сэра Томаса,

*) Неф—средняя часть собора.

дабы тем снять вину за пролитие крови мученика с моего короля и повелителя.

Но всему бывает конец: под порталом зазвенело и засверкало, четверо вооруженных с головы до ног вошли в двери и устремились с обнаженными мечами через неф собора. «За мною, кто верен королю!»—вскричал сэр Вильгельм Траси.

Поспешно пытался я замкнуть дверцы решетки, отделяющей алтарь от остальной церкви. Но примас, поднявшись и повернувшись лицом к убийцам, неотразимым движением запретил мне это делать. Все клерики столпились вокруг него, — те, что помоложе и посмелее, заполнили ступени,—на нижнюю ступень первым твердой ногой стал Трустан Гримм, державший крест; остальные,—кто, стоя, кто на коленях,—обступили епископа, тесно прижавшись друг к другу, как испуганное и сбившееся в кучу стадо, у которого под ударами гибнет пастух.

«Где изменник?»—воскликнул сэр Вильгельм Траси. Тут храбрый монах Трустан, в виде защиты и угрозы, выставил им навстречу крест, который он держал обеими руками. Удар меча, струя крови,—и рука, отсеченная от тела, вместе с крестом, упала наземь. Тогда все четверо накнулись на перепуганных монахов, нанося им удары плашмя и обращая в трусливое бегство этих бритых, бросившихся в рассыпную. Я же подбежал вплотную к сэру Томасу,—он стоял по сере-

дине главного алтаря, держа руки распростертыми, как у Распятого, висящего над его головой,— словно Христос во образе своего двойника.

«Король хочет, чтобы ты умер», — сказал Траси и поднял меч.—«Да свершится!»—ответил сэр Томас.—Я охватил его вот этими самыми руками и почувствовал молниеносный удар; в то же мгновение раздался окрик: «прочь, холоп!» и чья-то железная рука,—это могла быть только рука Grappedur'a,—схватила и отшвырнула меня прочь, так, что я со свистом ударился головой о колонну. Теряя сознание, я видел перед собой посреди моря крови, лик умирающего с улыбкой на устах.

Как долго лежал я на каменных плитах, мне неизвестно. Когда я снова пришел в чувство, в церкви уже никого не было; я попробовал приподняться, не смея кинуть взора на тело святого, лежавшее в двух шагах от меня, у алтаря... Опустившись снова, я заметил, что моя кожаная куртка залита кровью убитого.

В это время из мрачной глубины церкви слышались раздирающие жалобные звуки. Горестные вопли все росли и росли, и церковь стала наполняться бедным саксонским людом, окликавшим своего отца и призывавшим на его убийц мщение небес.

С жуткой поспешностью, влекомые любовью, набрасывались все эти люди на святое тело, при-

падали к мертвым стопам и рукам, целовали раны и омывали их потоками слез. Они жадно окунали свои платья и лохмотья в пролившуюся кровь мученика.

Наконец, мне удалось встать на колени; с еще затуманенными чувствами вытащил я платочек и обтер стекавшие с моего камзола кровавые капли. Тут мне стало так горестно на душе, что я со стоном воскликнул:

„Mea culpa, mea maxima culpa!“

При этих словах, Ганс-арбалетчик, застонав, соскользнул со своей скамьи на колени, как будто прошлое ожило вновь перед ним. Господин Буркхард сострадательно простер над ним свои старческие руки и стал утешать его любвеобильными речами.

XIII.

Между тем, скудный свет зимнего дня шел на убыль, да к тому же как раз в это время перед окном закружились в пляске снежные хлопья; поэтому в узком покое внезапно так стемнело, что старики едва были в состоянии различать черты друг друга. По угольям пробегали последние язычки пламени, словно блуждающие огонь-

*) „Моя вина, великая моя вина!“ — обычные в католической церкви признания своей вины.

ки,—ибо и рассказчик, и слушатель позабыли про огонь и не раздували его. Было совсем тихо, слышалось только легкое похрапывание Таппа, растянувшегося перед самым очагом, да возны мышонка, что-то грызущего по близости от хлебного ящика.

Тут вошел старый слуга каноника с охапкой дров; он дал новую пищу огню и с дребезжащим треском спустил висящую на цепях масляную лампу с тремя носиками, которая вскоре осветила своим спокойным, ровным светом сводчатый покой.

«Я кончил,—вздыхнул арбалетчик,—ибо что мне еще остается прибавить к сказанному, когда вы уже узрели лежащую там, на каменных ступенях, окровавленную и изувеченную главу? Что вам еще сказать о короле и обо мне самом, его бедном слуге? Разве что вы пожелаете выслушать, как непрестанно растущее бремя святого тела раздавило моего государя,—сэр Томас и в своей небесной славе, видно, не простил его;—и как, потеряв душевный мир, он прогнал своего слугу, видя в нем ненавистного совиновника. И все же, сир Генрих предал себя бичеванию перед гробницей убиенного им и поклонился от чистого сердца святому, как то значит-ся в летописи».

— Согласно заслуживающему доверия изложению моей летописи,—заметил с сомнением в

голосе каноник, — король твой, действительно, предал себя бичеванию перед гробницей святого Томаса в Кентербери, но сделал он это не без мудрого расчета и мирских соображений; ибо он хотел усилить себя этим в борьбе против своих сыновей и вновь привлечь к себе отвратившиеся от него сердца его саксов. Ты сам, Ганс, открыл мне, каким великим грешником был твой король.

«Он поступал, как лицемер и притворщик, думаете вы?—воскликнул арбалетчик, возмущенный и раззадоренный этим обвинением и продолжал: — клянусь главой Христовой, увенчанной терниями, никогда ни один человек не молился чистосердечнее, чем сир Генрих, в тот час, когда поцелуями и слезами он покрывал каменные столпы святого. Саксонский ваятель изобразил сэра Томаса лежащим на своей гробнице со скрещенными на груди руками и с тихой улыбкой на лице. Не то, чтобы мастерство, а самое сходство изображения было велико. Мастер твердо запечатлел в своей памяти черты примаса при его жизни и удачно воспроизвел его наружность.

Я стоял коленопреклоненным за королем в то время, как он каялся в своих грехах, и когда он обнажил свою спину для бичевания, то по моей пробежал мороз. Я также обратился к святому с пламенной мольбой пойти по стопам Господним

и простить своих убийц. Меж тем сир Генрих простонал: «Не отнимай от меня только моего любимца, Львиное Сердце, ты, могучий воитель Господень! Как плохо знал я тебя, святой человек, я, презренный, удостоившийся жить с тобою рядом и дышать с тобою одним воздухом...»

Раздался звук рога—условный знак, мне знакомый; это был вестовой из ставки моего короля во Франции. Поспешно набрасываю я плащ на исполосованные рубцами плечи сира Генриха, выхожу за портал, принимаю посланца и бросаюсь с письмом в руках назад к королю. Я мнил, что сэр Томас внял его мольбам в тот же час и даровал ему победу над сыновьями. Дрожащей рукой король взламывает печать, но буквы плывут у него перед глазами. «Читай!»—приказывает он, гневный от страстной жажды победы и мира. Но то, что я прочел, гласило совсем иное:

«Я, Ричард, граф Пуату, выступаю с обвинением не в своем деле, а в деле своего воспитателя и духовного отца в небесах, убийцы коего разгуливают здоровыми и невредимыми по свету, не преследуемые королевским приговором. Я проклиная такую нерадивость и, дабы никто в том не сомневался, объявляю всем королям и народам, что отрекаюсь от своего отца по крови, как он сам отрекся от Христа и свидетельствовал о Нем».

В то время, как я, запинаясь, читал вслух это

жестокое послание, мой государь с остановившимися, выкатившимися глазами подошел ко мне. Голос мне изменил. Сир Генрих же схватил меня обеими руками за горло. «Ты лжешь, бесстыдник!»—крикнул он и упал без чувств. А сэр Томас улыбался на своей каменной гробнице».

— Довольно!—воскликнул побледневший каноник и, как бы обороняясь, протянул свои руки в сторону арбалетчика. Господин Буркхард любил все веселое и забавное, как то свойственно людям преклонного возраста, на долю которых остается лишь немного дней. Зазывая к себе арбалетчика, он думал потешить себя двумя-тремя рассказами по части человеческих слабостей святого и подчеркнуть слегка золото на его новом венчике, чтобы посбить спеси. А вместо того, Ганс нарисовал ему мучительную борьбу двух людей, с их страдальчески-искаженными лицами. К этому каноник не был подготовлен. Он искал какого-нибудь шутливой слова, чтобы смягчить впечатление.

— Меня утешает,—произнес он спустя некоторое время,—что ты вот сидишь здесь, передо мною, как благочестивый и почтенный человек; всистину ты умеешь ладить с людьми, раз сам король, ухватясь за тебя, все же не увлек и тебя в своем падении!

Арбалетчик с горящими глазами выпрямился на своей скамье. Своим рассказом он облегчил

бе душу, как исповедью, и придал бодрости всем своим членам, ибо, несмотря на седины арбалетчика, его мужественное сердце было способно переносить суровые приговоры правосудия, сокрытого в самих недрах людских деяний.

«И я не избежал ударов,—сказал он.—Однако, я во-время сумел удалиться, не упустив к тому же случая прибегнуть к душеспасительным средствам. Я хочу вам еще рассказать вкратце и об этом, а также, как я сделался тем, что я есть. Лошади бегут быстрее, почуя близость конюшни.

Когда, после того бичеванья, я, вслед за сиром Генрихом, возвращался рысью в Виндзорский замок, для меня стало несомненным одно,—что моя королевская служба подходит к концу. Со времени смерти примаса я сделался источником раздражения для моего короля, и он в гневных, несправедливых словах упрекал меня в моем бессилии вырвать святого из рук его убийц. Где бы я ни попадался ему на глаза, он отворачивался от меня. Стройный паж знатного аквитанского рода сменил меня, бородатого, в моей должности виночерпия; на охоту я сопровождал короля только изредка; да и в тот раз, еду на свое покаяние в Кентербери, он взял меня с собой лишь потому, что ему нечего было передо мною стесняться.

В Виндзорском замке оружничий, господин

Ролло, учинил мне допрос, ибо молва о самобичевании короля разнеслась и бродила среди саков, переходя из уст в уста и служа источником и назидания, и злорадства. Когда сеньор Ролло слышал позорную правду, на лбу у него угрожающе вздулась гневная темная жила, и он, на свой лад, в дерзких словах, облегчил себе душу.

«Он приполз к его гробнице и поклонился этому трусу! Вот-то должен был захихикать тот, бледный, в своей норе!.. А то, что он и из-под земли еще ужалил короля,—это достойно змеи!.. Битый плетью норманский король!.. Впрочем, тут нечего удивляться! Заметил ты, Ганс, что у короля Генриха давно уже на плечах поповская голова?»

Тут господин Ролло сказал правду: лицо моего короля сделалось неузнаваемым: изможденным и обвислым; взамен радостного сияния былых времен, от него теперь исходил лишь тусклый, бледный свет, как от гнилого дерева в ночи.

«Английский воздух стал для меня зловонным, —гневался сэр Ролло,—я уеду отсюда на огнедышащий остров Сицилию, где у меня есть племянник. Ганс, возьми уголек из очага,—мы находились в оружейной,—и напиши за меня тут на стене прощальный привет, чтобы мне не служить больше битому королю!» Я знал, что благородный сеньор несведущ в письме, и, по мере своих сил, выразил его мысль латинским изре-

чением, оборотом которого он остался доволен и которое гласило:

„Ego Normannus Rollo-vale dico regi Henrico“*)

Прежде чем пустить в дело уголек, я заметил: «Нам с вами по пути, сеньор!»

«Как, ты уходишь, лучник? Королю будет не доставать тебя!»—бросил он и наморщил лоб.

Я указал ему на мою шею—она была вся в синяках от душивших меня пальцев—и сказал: «Вот уже третий раз я оказываюсь вестником несчастья для короля Генриха. Можно ли удивляться, что ворон стал ему ненавистным? Моя служба не принесет королю больше счастья,—чего же мне возбуждать его гнев? Я хочу уйти, прежде чем он в недобрую минуту запустит в меня копьем, как царь Саул. Но то, что вы, сеньор, бросаете его, вы, которого он ценит и которым дорожит, как старейшим свидетелем и воплощением норманской славы,—это должно его напугать и омрачить, как злое предзнаменование!»

Тут оружничий выхватил цельный еще уголек из моей руки, бросил его в очаг и с мрачным ворчанием повернулся ко мне спиной.

В тот же день я предстал пред государем и попросил о своем увольнении,—на сердце у меня

*) „Я, норманн Ролло, говорю: прости! королю Генриху“.

было еще тяжелее, чем в тот первый день моей королевской службы, когда я показывал королю в той же самой палате усовершенствованный арбалет. Сир Генрих взглянул на меня, — нельзя сказать, чтобы недружелюбно, но с отчужденностью и печалью во взоре, — и милостиво отпустил меня. Богатым человеком я не стал от того, но честно заслуженное мною было, по приказанию сира Генриха, выплачено мне его казначеем.

При сборах — в моей Виндзорской комнате я нашел в глубине одного ларя засунутый мною туда платочек с кровью святого. Что мне с ним было делать? Правда, он стоил больше всего жалованья, выплаченного мне королем Генрихом, ибо уже и в те времена все, что только сохранилось от святого, — даже самая безделица, — ценилось во сто, в тысячу крат дороже золота. Но торговать кровью, вина за пролитие которой падала отчасти и на меня, — это претило воспоминаниям, запавшим мне в душу. Два других исхода — сохранить окровавленный платочек при себе или уничтожить его — равным образом вызвали во мне сомнения.

Прежде чем покинуть Англию, я не преминул навестить моего бывшего хозяина — лондонского лучника. Он оказывал мне добрые услуги; во время же королевской службы я отдалился от него. Хозяин принял меня с большими почестями,

ибо ему оставалось неизвестным, что я впал в немилость; он смеялся и плакал, как дитя. Огорчения и сердечное горе ослабили его душу и тело. Я спросил его про Хильду. «Она больна изнурительной лихорадкой»,—ответил он и повел меня в ее комнату.

Когда она меня узнала, то ее голубые, глубоко запавшие глаза засветились. Она поблагодарила меня за то, что я пришел,—ей так хотелось видеть меня еще раз перед смертью; во мне же, вместе с жалостью, с новой силой пробудилась старая любовь, так что я, в том состоянии смирения, в каком я находился под влиянием ударов судьбы,—предложил Хильде последовать за мной в качестве моей супруги, если только ей суждено выздороветь. Она кивнула головой, но с выражением сомнения и печали.

Тут я вспомнил про мою бесценную святыню, ибо по всей Англии шла громкая слава о чудесах и исцелениях, творимых реликвиями святого Фомы. Даже мертвые, — так проповедывали саксонские попы,—силой прикосновения к этим реликвиям, возвращаются в наш земной мир.

Во весь опор мчался я в Виндзор и обратно; я спешил с моим платочком к Хильде, в верхнюю комнату; она дремала. Я тихо положил платочек ей на грудь; тут она зашевелилась, приветливо улыбнулась, два раза тяжело вздохнула, от-

крыла свои засиявшие глаза и вновь сомкнула их с легким вздохом. Господин мой, — она была мертва!

Тут меня охватил жестокий испуг и гнев на сэра Томаса, который воскрешает мертвых, меня же преследует с непримиримостью и убивает милое моему сердцу. Я убежал оттуда, а окровавленный платок был, видно, вместе с нею положен в гроб.

Мой переезд через море был бурным, и волны дважды отбрасывали меня назад к английским берегам. Ступив, наконец, на твердую землю, я устремился в швабские страны, ибо жизненный опыт начисто отбил у меня охоту к путешествиям, и дела света перестали меня занимать. Стоило мне раз напоить моего коня в Рейне, — и тоска по родине неудержимо потянула меня вверх по течению вплоть до ворот Шафгаузена. Там успеха уже изгладиться всякая память о жиде Манассии, и я был принят с почетом, как человек известный и выдавший свет. Раньше чем успел потускнеть мишурный блеск моей славы, я женился на некой молодой вдове, которая, вместе с двумя мальчуганами от первого брака, принесла мне с собою в приданое еще и башню в Шафгаузене, да солнечный виноградник на берегу Рейна.

Хоть я и благородного рода и бывший королевский слуга, но все же я не бросил своего ре-

месла, а, поверьте мне, господин мой, наоборот, тотчас же обзавелся славной мастерской, начавшей вскоре снабжать большим и малым оружием замки и города в широкой округе.

Про моего же короля я не узнал ничего, кроме того, что ему не удалось добиться мира ни с самим собой, ни со своими сыновьями. Как-то однажды мне случилось пойти вместе со старшим мальчуганом моей жены, к Рейнскому водопаду, чтобы на стрельбе из нового арбалета испытать, в какой мере воздушный вихрь, носящийся над течением, препятствует полету стрелы с одного берега на другой.

Высматривая для себя цель на противоположном берегу, я вдруг замечаю серый облик рыцаря, сидящего на скале и положившего свой меч поперек колен, как ваш Карл Великий *) здесь, на соборной башне. Моему мальчугану становится жутко, да и я ломаю себе голову: кто бы мог за ночь поставить в диком месте у реки это надивно естественное изваяние.

Но вот рыцарь медленно поднимает вверх свою закованную руку, и я вижу, что он мне машет. Тут я узнаю его, прыгаю в челнок перевозчика, переправляюсь на ту сторону, а сеньор Голло кричит мне навстречу: «Приветствую тебя,

*) В нише одной из башен Цюрихского собора находится каменная статуя императора Карла Великого, сидящего с мечом на коленях.

шваб, и приглашаю себя к тебе на вечерний кубок!»

По дороге в мой дом он рассказал мне, что едет в Палермо. Прибыв сегодня в этот городишко на Рейне, он приютил там коня и слуг, а сам, влекомый отдаленным шумом, подобным грому, полюбопытствовал спуститься вниз по течению к этой смелой игре водной стихии.

Когда мы проходили вместе по улочкам Шафгаузена, и народ с изумлением взирал на могучий рост старого рыцаря, мне начинало казаться, будто я живу в какие-то отдаленные времена среди некой чуждой породы великанов. Не один кубок моего вина был осушен сеньором Ролло, и он похваливал его. Я же осмелился, наконец, спросить его про своего короля и повелителя. В ответ оружничий дунул в воздух, и я понял, что душа сира Генриха отлетела. «А его кончина,—спросил я тревожно,—как-сва она была?»

«Обошлось без попов,—ответил он.—Кровавый отцовский гнев сразил его, как молния. Твой идол, мальчишка Ричард, одолел его с помощью Капетинга, и первым условием мира поставил отцовское благословение, будь оно даже пустым движением руки.

Тут сир Генрих, с моей помощью, поднялся со своего одра болезни и, исполненный затаенной злобы, через силу простер свою

руку над сыном. Смертная судорога свела его пальцы, дарящие лживое благословение, и они окоченели в воздухе».

«Остановитесь, сеньор Ролло!—вскричал я, содрогаясь, и через некоторое время продолжал:— Если вы разрешите, я проеду с вами часть дороги. Я хочу совершить паломничество к Черной Богоматери в Эйзидельн. Меня тянет помолиться за душу моего государя».

На второй день мы достигли бесплодного плоскогорья, там, где находится келья святого Мейнрада. Сеньор Ролло не заехал туда; он повернул и прищипорил коня, простившись со мной легким кивком головы и плюнув в сторону монастырских башен.

Я же сошел с моей лошади и босиком, с непокрытой головой, направился к святому месту. Свершив там все положенные очистительные обряды, я выпил на прощанье еще раз из каждой трубки источника, который, как вы знаете, забил из пречистого тела святого Мейнрада.

Когда я отнял мои благоговейные уста от одной из трубочек, я увидел у другой голову прильнувшего к ней паломника, у которого с правой стороны боттался пустой рукав. Тут и он поднял ко мне свое лицо, и мы посмотрели друг другу в глаза. Не успев оглянуться, мы оба вскочили и вцепились друг другу в горло,—Трустан Гримм и я.

Но в это время около нас раздался сильный низкий голос: «руки прочь!» и молодой цветущий монах обратился к нам с вопросом, кто мы и откуда?

Узнав, что один из нас был крестоносцем св. Фомы, а другой—приближенным короля. Генриха, он признал простительным, что мы схватили друг друга за горло; но, розняв нас, все же наложил на нас обоих поровну церковное покаяние, так что каждому причиталась своя доля «Отче наш»; вдобавок, он не преминул прочесть нам наставление: маленьким людям нечего мешаться в распри сильных мира сего, особливо, когда те уже нашли себе подобающее место в загробном миру в одном из трех его обиталищ.

Итак, каждый из нас пошел своим путем; я—по направлению к своей мастерской, Трустан Гримм—к Пресвятому Гробу, бормоча себе во все еще рыжую бороду какие-то злые слова насчет нерадивых швабских попов.

Десять лет спустя папа, правящий церковью еще поныне, вняв голосу Англии и всего христианского мира, причислил сэра Томаса к пресветлому сонму святых, почитаемых Церковью. Вместо трех полагающихся чудес, их заявлено и заверено было свыше сотни; но неменьшее значение имела при взвешивании и оценке достоинств сэра Томаса и достохвальная кончина его на ступенях алтаря.

Когда об этом было возвещено всему христианскому миру, я вписал имя сэра Томаса в мой самодельный месяцеслов как раз под малолетними первыми мучениками, невинными младенцами из Вифлеема, с которыми он, впрочем, имел мало общего, не считая насильственной смерти от меча».

В эту минуту Тапп вскочил с резким лаем, и скоро, в ответ ему, снизу, с улицы, раздался вой собак и лошадиный топот. Яркий свет факелов прорезал комнату, и когда оба старика вышли на деревянное крыльцо, то арбалетчик узнал во главе возвращающихся охотников, едущих по крутой улице, своего покровителя и должника, господина Куно, и был, в свою очередь, узнан им. Молодой каноник, подтянув левой рукой поводья, выхватил правой из кармана туго-набитый кожаный кошель и, в порыве щедрости, протянул его арбалетчику.

Ганс собирался уже откланяться, но господин Буркхард положил ему на плечо свою дрожащую руку.

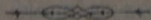
— Друг,—сказал он,—переночуй-ка ты под кровлей святого Феликса и Регулы! Ведь, обозвал же тебя прославляемый здесь ныне святой лукавым рабом,—поэтому легко может статься, что он, с его непримиримостью, устроит тебе еще засаду или расставит сети ночью на пути твоём в харчевню. Иди теперь и получи свой

долг с господина Куно, прежде чем застучат
игральные кости! Тем временем тебе приготовят
в моем покое ночное ложе. Я сплю мало, и мне
будет приятно сегодня ночью слышать рядом с
собой живое дыханье, ибо я опасаясь, как бы
окровавленная голова сэра Томаса не помере-
щилась мне в ночном мраке.

Завтра же, в день благочестивого царя Дави-
да, ты спокойно можешь отправиться в путь!

Перевод с немецкого

А. и Ю. Римских-Корсаковых.



ПРИЛОЖЕНИЯ.

Р. И. И. Ж. О. А. Н. П.

СМЕРТНАЯ ПЕСНЬ РАГНАРА ЛОДБРОКА.

Мы рубились мечами, когда я, еще молодым, ходил на восток готовить кровавый пир волкам, в ту великую битву, где я толпами отправлял в чертог Одина весь народ Гельсингии *).

Оттуда наши корабли принесли нас к устью Вислы: там мы копьями пробивали кольчуги и мечами рассекали щиты.

Мы рубились мечами в тот день, когда я видел сотни умирающих людей, простертых на песчаном мысе на берегах Англии. Кровавая роса сбегала с мечей; стрелы свистели навстречу бойцам. Я радовался этому, как-будто возле меня сидела любезная.

Мы рубились мечами в тот день, когда я сломил молодого вождя, гордого своими кудрями; с утра он привык ходить за девицами, прохладиться со вдовами. Какая же еще участь для храброго, если не смерть в первом ряду!

Скучно живет тот, кто не ранен в боях. Человек должен идти на человека, должен нападать, должен отражать.

*) Область по Ботническому заливу.

Мы рубились мечами. Теперь я испытываю, что люди—рабы судьбы: они повинуются приговору сил, властвовавших их рождением. Когда я пустил на море мои корабли, я думал насыщать волков, а не думал встретиться с концом моей жизни. Но радуюсь, вспоминая, что мне приготовлено место в чертогах Одина. Там, за великим пиром, будем пить пиво полными черепами.

Мы рубились мечами. Если сыновья Аслауги *) знали мою муку, если они знали, что ядовитые змеи меня теперь обвивают и терзают, они бы вострепнулись все и полетели на бой: мать, которую я покинул, дала им храбрые сердца! Ехидна прокусывает мне грудь, сосет мое сердце.

Я побежден; но, надеюсь, вскоре копье одного из моих сыновей пронзит сердце Эллы.

Мы рубились мечами в пятьдесят одной битве. Есть ли в людях король славнее меня? Смолоду я учился обогащать железо кровью.

Нечего плакать о моей смерти: пора мне кончить! Посланные ко мне Одином богини меня зовут и приглашают. Иду. Сяду в первых рядах пить вино с богами. Жизнь моя прошла; умираю, смеюсь!

Из книги О. Тьерри: „История завоевания Англии норманнами“).

*) Аслауга—жена Рагнара Лодброка.

СТАРИННАЯ БАЛЛАДА О БРАКЕ И ПЛЕНЕНИИ ГИЛЬБЕРТА БЕКЕТА.

В Лондоне родился молодой Бэйчен. Он отправился путешествовать по чужим странам, но был взят в плен диким мавром, который обращался с ним жестоко.

Потому что, наблюдая обычаи этой страны и ее верования, он не захотел преклонить колена перед Мухаммедом или Термагантом.

В каждом плече они прокололи ему по отверстию, в каждом отверстии посадили дерево и заставляли его носить виноград и пряные коренья на своем прекрасном теле.

Они ввергли его в глубокую темницу, где он ничего не мог ни слышать, ни видеть. Семь лет они держали его там, чуть не заморили его голодом.

Этот мавр имел единственную дочь по имени Сези Пэй. Каждый день, прогуливаясь, она проходила мимо темницы Бэйчена.

Она была добра, мягка и нежна, хотя происходила из дурного рода.

Частенько она, сама не зная почему, вздыхала о том, кто лежал в темнице.

Случилось однажды, что она услышала скорбную песнь молодого Бэйчена.

С тех пор постоянно в ушах ее звучала эта песнь безнадежной печали:

«Псы мои ходят без господина, соколы мои летают с дерева на дерево. Мой младший брат возьмет мою землю в наследство, прекрасную Англию я не увижу никогда».

Унылые звуки шли из-под земли, замирали, доходя до ее напряженного слуха, и как она ни слушала, она не могла понять ни слова.

Целую ночь она не могла успокоиться; она все думала о песне молодого Бэйчена. Она утащила ключи из-под подушки отца и отправилась в тюрьму.

Она отворила двери тюрьмы, она должна была две или три двери отомкнуть, пока дошла до молодого Бэйчена.

Он был поражен изумлением.

Когда она явилась пред молодым Бэйченом, его удивил ее вид, он принял ее за прекрасную пленницу. «Прекрасная лэди»,—спросил он, — «откуда вы?»

«Есть ли у тебя,—спросила она,—много земель и замков в твоей отчизне, которые ты мог бы подарить женщине, если она освободит тебя из

«Близ города Лондона есть у меня дворец и темницы?»

два или три замка. Я их подарю женщине, которая меня освободит».

«Дай мне слово, поклянись правой рукой, что в течение семи лет ты не женишься, а если и женишься—то разве только на мне.

«Клянусь тебе правой рукой, обещаю тебе свободно, что семь лет не женюсь за ту милость, которую ты оказала мне».

Тюремщика грозного она успокоила золотом и серебряною монетою. Достав ключи темницы, она выпустила молодого Бэйчена на волю.

Она накормила его сладким пряником, она напоила его красным вином. Она упростила его вспоминать иногда о той, которая так ласково освободила его от страданий.

Она сняла кольцо с своего пальца, разломала его, и половину дала Бэйчену. «Возьми и помни о любви, которую к тебе питает твоя освободительница.

«Взойди на хороший корабль и спеши в твой край родной; пока истекут эти семь лет, возвратись, полюби и женись на мне».

Но она не дождалась конца этих семи лет: она тосковала о своем возлюбленном. Ей все слышался голос, который твердил непрестанно: «Бэйчен нарушил данный тебе обет». Она вступила на корабль и простилась с своею отчизною.

Она плыла на восток, она плыла на запад, наконец, она пристала к берегам прекрасной Ан-

глии. Она заметила пастуха, который пас своих овец на равнине.

«Что нового, добрый пастух, что нового ты скажешь мне?»

«Дивное дело,—отвечал он,—о каком никогда еще здесь не слыхано:

«В том дворце свадьба, которую празднуют уже тридцать три дня, но молодой Бэйчен не хочет лечь с своею невестою, из любви к какой-то женщине заморской».

Она опустила руку в карман и дала ему золота и серебряных монет:

«Возьми, возьми это, славный парень, за ту хорошую весть, которую ты мне передал».

Когда она дошла до бэйченых ворот и позвонила слегка, ей тотчас отворил статный привратник и ввел даму во дворец.

— Это ли дворец молодого Бэйчена, и дома ли благородный лорд?—«Да, он дома, с гостями. Сегодня день его свадьбы».

«Разве он женился на иной, разве он совсем меня забыл?—вздыхая, промолвила она.—О, я бы желала быть опять на моей родине».

Она взяла свое золотое кольцо, которым поделилась когда-то с своим возлюбленным.—«Отдай ему это, статный привратник, и скажи жениху, чтобы он пришел поговорить со мной».

Привратник явился перед своим господином и преклонил колено.

«Что тебе нужно, мой добрый привратник, зачем этот поклон?»

«Я сторожу твои ворота тридцать три года, но такой прекрасной дамы, как та, которая теперь у ворот стоит, я не видал никогда.

«На каждом пальце у нее по кольцу, а на среднем—три кольца, а на голове ее столько золота, что она могла бы купить целое графство».

Тогда сказала невестина мать (сердитая женщина она была): «Ты мог бы исключить из этого счета невесту и двух или трех дам из нашей компании».

«О, замолчи, невестина мать, что за вздор говоришь ты? Она в десять раз краше невесты и всей вашей компании».

«Она просит кусок вашего белого хлеба и чашу вашего красного вина и просит вспомнить любовь той лэди, которая освободила вас от страданий».

«Увы, — сказал молодой Бэйчен, — зачем я поспешил обвенчаться с тобою. Это должно быть Сези Дэй, которая из-за моря приехала из любви ко мне».

Стремглав он сбежал с лестницы, с пятнадцати ступеней в три прыжка; он заключил свою любимую в объятия и целовал, целовал ее нежно.

«Зачем ты взял другую невесту, зачем ты позабыл обо мне, зачем ты позабыл о той, которая дала тебе жизнь и свободу!»

Она отвернулась от него, чтобы скрыть слезы, которыми наполнились ее глаза.

«Теперь прощай, молодой Бэйчен, я постараюсь не думать больше о тебе».

«О, нет, нет, Сези Пэй. Этого никогда быть не может, потому что я не женюсь ни на ком, кроме той, которая столько для меня сделала и страдала».

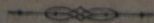
Тогда отозвалась утренняя невеста: «Мой лорд, разлюбил ты меня скоро. Сегодня утром меня с тобой венчали, а пока наступил полдень ты избрал другую».

«О, замолчи, утренняя невеста. Ты ей не ровня в моих глазах. Если ты возвратишься во-свояси, то отошлю тебя с двойным венком».

Он взял Сези Пэй за белую руку; он повел ее с собою и сказал, целуя ее алые губы:—«Здравствуй, моя драгоценная, это—твой собственный дом!»

Он ее взял за руку белую, как молоко; он ее повел к купели и переименовал ее из Сези Пэй в свою любимую лэди Джен.

(Из книги О. Тьерри: „История завоевания Англии норманнами“).



РАССКАЗ ОСВЕТСКОЙ ЖИЗНИ ФОМЫ БЕКЕТА ДО ВОЗВЕДЕНИЯ ЕГО В САН ЕПИСКОПСКИЙ.

Сообщено секретарем его Вильгельмом,
сыном Стефана.

Дом и стол канцлера открыты были всем нуждающимся, к какому бы состоянию они ни принадлежали, если только были они люди честные, или казались такими. Каждый день почти си обедал в обществе графов и баронов, которых сам приглашал. Ежедневно приказывал он выстилать свои приемные комнаты зимою свежим сеном или соломою, летом тростником или зелеными ветками, чтобы множество воинов, которым негде было усесться на скамьях, могли располагаться на чистом и мягком полу, и чтоб их дорогие и красивые одежды не пачкались в грязи.

Дом его снял золотыми и серебряными сосудами, изобиловал яствами и напитками.

Если какое-нибудь кушанье или питье было особенно редко, то слуги закупали их, несмотря ни на какую дороговизну...

Вельможи королевства английского и других соседних государств отдавали детей своих на

службу к канцлеру: он давал им хорошее содержание и воспитание и отсылал, пожалованных рыцарскими перевязями, к отцам их и родным, иных же оставлял при себе.

Сам король, господин его, поручил ему воспитание сына своего, наследника престола.

Канцлер содержал при себе в великой чести королевича со многими его сверстниками, сыновьями дворян и свитою их, учителями и собственными, приставленными к ним служителями.

Дворяне и рыцари во множестве поступали на службу к канцлеру. Он их принимал с соблюдением должной верности королю и жадовал своим покровительством.

Для переезда через пролив он держал шесть или больше кораблей. Он брал с собою всякого, кто только хотел переехать, а высадившись на берег, щедро награждал корабельщиков своих и матросов. Не проходило дня, чтобы он не пожаловал кому богатых даров: коней, птиц, одежд, золотых и серебряных сосудов или денег.

Воистину написано: есть люди, которые раздают собственное и все же имеют всего в изобилии, другие похищают чужое и живут всегда в недостатке.

Канцлер имел такой талант дарить, что он считался любимцем и краскою всего латинского мира.

Каков бы ни был возраст человека, он умел к нему примениться. К канцлеру были привязаны король, духовенство и народ за его доблести, великодушные и прекрасные качества души. Порешив важные дела, король и он шутили друг с другом, как дети, во дворце, в церкви, беседуя за столом или ездя верхом.

Однажды, они ехали верхом по одной из лондонских улиц; стояла жестокая зима; издали король увидел бедного старика в изношенном и скудном платье.

Король говорит канцлеру:—Видишь ли его?

Канцлер:—Вижу.

Король:—Как он беден, слаб и наг. Не велика была бы милостыня, если бы кто дал ему теплый и плотный плащ.

Канцлер:—Воистину велика. Твое дело, король, позаботиться об этом.

Между тем нищий поравнялся с ними. Король остановился, а вместе с ним и канцлер. Король ласково подзывает нищего и спрашивает—хочет ли он иметь теплый плащ.

Не зная их, нищий полагал, что они над ним потешаются.

Король к канцлеру:—Ты сотворишь эту великую милостыню—и, ухватившись руками за воротник нового, прекрасного плаща канцлерова, крытого червленью и подбитого белкой, король

стал стягивать его с плеч канцлера, а канцлер противился.

Возникло смятение и тревога.

Вельможи и рыцари, которые за ними ехали, окружили их в этой внезапной рукопашной схватке, дивясь и стараясь угадать ее причину, но никто не мог им этого объяснить: каждый из споривших работал руками, а порою казалось, что оба свалятся с лошадей.

После некоторого сопротивления, канцлер дал королю преодолеть его, стянуть с него плащ и отдать его нищему.

Тогда король рассказал своим спутникам в чем дело.

Все помирили со смеху.

Многие тотчас предложили канцлеру свои плащи и шубы.

Нищий ушел, унося плащ канцлера, столь нечаянно-обогатенный и обрадованный; он благодарил Бога за это.

Король бывал у канцлера весьма часто в гостях, как для того, чтобы с ним поиграть, так и для того, чтобы видеть о чем ему рассказывали относительно дома канцлерова и его стола.

Иногда король в'езжал на лошади в гостиную канцлера, когда он обедал; иногда с луком в руке, возвращаясь с охоты или отправляясь на охоту.

Иногда он выпивал и, повидавшись с канцлером, уходил.

Иногда он вбегал, садился за стол и обедал.

Не бывало двух столь близких друг другу людей на свете во времена христианские.

Однажды, канцлер заболел тяжело в Руане у св. Гervasия.

Два короля пришли его навестить, король французский и король английский, его государь.

Оправившись и выздоровев, канцлер сел играть в шахматы; на нем было платье с широкими рукавами. Пришел тогда его посетить Асхетин, приор лейчестерский, приехавший от двора королевского, находившегося в то время в Гасконии.

Будучи с канцлером в самых дружеских отношениях, Асхетин сказал ему, шутя: «Зачем вы носите платье с такими широкими рукавами? Это платье подходит сокольничим; вы же особа духовная, в одном лице совмещающая множество чинов: вы архидиакон кентерберийский, декан гастингский, пробст буверлакский, такой-то и такой-то, каноник, заведующий архиепископством, и, как поговаривают при дворе, будущий архиепископ».

Канцлер, между прочим, на эти слова отвечал: «Я знаю трех таких бедных священников в Англии, возведения которых в сан архиепископский я желал бы более, нежели моего собственного».

«Я так хорошо, насквозь, до самых костей изучил господина моего короля, что знаю: если

только буду поставлен архиепископом, то должен буду по необходимости или потерять его милость или сделаться неверным слугою Господа Бога». Это предсказание впоследствии и сбылось.

Канцлер имел на своей службе духовных лиц, из которых многие состояли при нем, заведывали незамещенными епископствами и аббатствами или исправляли его собственные духовные должности.

Однажды, король английский, по совету с канцлером и другими вельможами своего царства, решил просить у короля французского руки дочери его, Маргариты, для сына своего Генриха. Все одобряли это решение, потому что эта связь повела бы к могущественному союзу двух великих государей.

Кого же, как не канцлера послать с этим предложением?

Он избран; все одобряют выбор. Собираясь на столь важное дело и приготавливая свиту и все наряды, канцлер последовал смехотворной пословице, которая говорит: обдумай предпринимаемое. Брачно должен снарядиться тот, которого посылают для устройства будущего брака.

Он решился блеснуть и ослепить роскошью английскою, дабы у всех и во всем видна была слава посылающего в poslanном, а слава посланных — в лице канцлера.

Он имел в своей свите до двухсот всадников: рыцарей, духовных лиц, стольников, слуг, оруженосцев, дворянских детей, на службе его состоящих и прекрасно вооруженных.

Все они, равно как и их прислуга, блистали красотой своих новых праздничных одежд, каждый по мере своих средств.

Канцлер имел двадцать четыре перемены нарядов, предназначенных к раздаче и оставлению в заморской стране, множество прекраснейших мехов иностранных, куниц, горностаев, множество ковров и покрывал, которыми устилалось ложе епископа в тех гостиницах, в которых он останавливался.

Он вез с собой всевозможные породы собак и птиц, какие только бывают у богачей и царей.

За ним следовало восемь колесниц, запряженных каждая в пять лошадей, по силе и росту равняющихся верховым. К каждой лошади приставлен был крепкий конюх, одетый в новое платье. При каждой же колеснице состоял особый вожатый и особый сторож. Две колесницы нагружены были одним только пивом, вываренным из пшеницы, в железных кадках, в подарок французам. Особая колесница везла походную церковь канцлера, особая—казну, особая—кухню; иные везли яства и напитки, иные—покрывала и ковры, мешки с ночными нарядами, тюки и иной багаж.

Канцлер имел двенадцать ключников. Восемь сундуков вмещали столовую золотую и серебряную его утварь—сосуды, рюмки, чаши, кружки, подносы, блюда, солонки, ложки, ножи, тарелки.

Множество ящиков и ларцев вмещало денежную казну канцлера, деньги, необходимые на ежедневные издержки и подарки, его одежды и книги.

Всякий ключник имел своего конюшего: по достоинству прилично одетого.

К каждой колеснице привязана была снизу или сверху огромная, сильная и страшная собака, которая, казалось, одолела бы любого медведя или льва; кроме того, каждый ключник имел хвостатую обезьяну, или орангутанта, представляющего подобие лица человеческого.

При в'езде в города или замки французские, сначала шли мальчики, пешие, числом до 250, по шести, десяти или более в ряд, поющие песни на своем родном языке; потом за ними борзые и гончие собаки на сворах с своими псарями; потом стучали по мостовой вышеупомянутые железом кованые колесницы, покрытые огромными чехлами из звериных шитых шкур; потом, в некотором расстоянии, ехали ключники с своими конюхами сзади, верхом сидящими.

Из домов своих выбегали французы, удивлен-

ные шумом и спрашивали, кто едет. Им отвечают: «Канцлер короля Англии, отправляющийся в посольство к королю французскому». Тогда французы говорят: «Должно быть, удивителен король Англии, когда его канцлер столь великолепен».

За ключниками следовали оруженосцы с щитами и конями своих рыцарей, потом иные оруженосцы, потом сокольники, потом стольники, стряпчие и дворецкие канцлеровы, потом рыцари и духовные из свиты канцлера, верхом по два в ряд, наконец, сам канцлер с несколькими приближенными к нему лицами.

Причалив к берегу, канцлер известил тотчас короля французского о своем к нему прибытии. Он ехал через замок Мэлан.

Король французский отписал ему, что встретит его в Париже в такой-то день. Желая угостить канцлера по праву и обычаю королей французских, по которым каждому человеку, ко двору приезжающему, дается содержание, пока он пребывает при дворе, король запретил в Париже указом продавать что-нибудь канцлеру или его слугам. Узнав об этом, канцлер послал своих людей в соседние с Парижем рынки Корбель, Понтуаэ, Сен-Дени; переодевшись и под вымышленными именами, они закупили для него в изобилии хлебов, говядины, рыб, вин и всякого рода яств, и когда он в'езжал в дом ор-

дена тамплиеров, где ему отведена была квартира, встретили его и донесли, что квартира эта снабжена всем нужным на три дня на тысячу человек. Только о богатствах царя Соломона читаем, что такое число животных требовалось на ежедневный расход по его столу. Однажды, за одно блюдо угрей канцлер заплатил 100 фунтов стерлингов. Этот случай сделался всему его отечеству известен и превратился даже в пословицу.

Я замолчу о других его расходах; этот один пример достаточно показывает, сколь пышен и обилён был стол канцлера.

Я не в состоянии описать, как его угощали король французский и дворяне французские, как он их угощал в свою очередь, с каким радушием принимал студентов парижских и школьных профессоров и граждан, оказывавших помощь студентам, родом из Англии. Пишут про Аннибала, что, по убиении Аздрубала, он послал в Рим послов и сказал им: «Идите и осыпайте деньгами каждого человека». Точно так поступал и канцлер: всякому благородному французу—барону, рыцарю, дворянам короля или королевы французской, профессорам, студентам знатнейших фамилий,—расточал он подарки. Все свое столовое серебро и золото, все перемены одежды своих он роздал,—кому плащ, кому мантию беличью, кому шубу, кому боевого коня, кому парадную лошадь. Что же еще сказать? Он

снискал у всех любовь непомерную, благополучно совершил свое посольство, достиг цели, получил то, чего домогался. На возвратном пути он овладел Гвидоном де-ла-Валь, врагом короля английского, нападавшим на отечество и грабившим на публичных дорогах; сковав, он заключил его в темницу в замке (Novi Fori).

Так действовал канцлер Фома в мирное время и в делах дипломатических.

Что же сказать мне о его военных действиях?

При осаде Тулузы, когда вся Англия, Нормандия, Аквитания, Анжу, Бретань, Шотландия прислали в помощь королю английскому свои ополчения и дружины, канцлер в своем отборном отряде, из его собственных вассалов состоящем, имел семьсот рыцарей.

Войско английское было столь значительно, что еслиб послушались его совета, то не только можно было бы штурмовать и взять и Тулузу и короля французского, который вступился за сестру, графиню Констанцию, и был в Тулузе, без войска и без достаточных сил. Король английский поддался наветам других людей; но, по напрасному предубеждению и излишней почтительности, не решился брать приступом порода, в котором находился сюзерен его, король французский, хотя канцлер доказывал ему, что король французский уже ему не сюзерен, коль скоро стал ему врагом, нарушив трактаты. Вско-

ре затем подбснела к Тулузе созванная и собранная дружина короля французского, а король английский с королем шотландским и своим войском отступили, ничего не сделав и не достигнув цели, а только взяли Кагор да несколько замков в окрестностях Тулузы, принадлежавших графу тулузскому и его вассалам или таких, которые граф тулузский отнял прежде у приверженцев короля английского. Когда, после отступления короля английского, никто из его баронов не решался взять на себя оборону этих замков, защищать их остался один только канцлер со своею дружиною, да с Генрихом, эссекским конетаблем и бароном королевским.

Надев на себя шлем и панцырь, канцлер взял приступом три крепкие замка, считавшиеся неприступными, переправился с войском через Гаронну выше по течению и, упрочив господство короля над всею этою областью, возвратился в Англию с честью и славою.

Впоследствии, во время войны короля французского с государем канцлера, королем английским, происходившей в Марке на пограничных их владениях, между Жизором, Три и Корселем, канцлер, кроме семисот своих ратников да тысячи двухсот наемников, командовал в продолжение одной четырехдесятницы четырьмя тысячами человек.

Ежедневно каждому рыцарю платилось по три

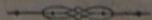
солида на содержание лошадей и оруженосцев; все же рыцари обедали у канцлера.

Хотя канцлер был лицо духовное, однако он сражался с сильным рыцарем французским Ингельрамом, прискакавшим из Три; прищпорив коня, ударом копья он ссадил Ингельрама с лошади, и эта лошадь досталась ему в добычу.

В целом войске английском лучшие рыцари были канцлеровы: смелее и предприимчивее, славнее всех прочих. Он их снаряжал, учил боевому порядку и отступлению по сигналам, которые он давал посредством труб своих, бывших самыми лучшими и самыми звучными во всем войске. Несмотря на то, что он воевал с королем французским и одержал многие победы, и опустошал огнем и мечом земли его, однако, он пользовался большим почетом у короля французского и всех вельмож всей Галлии, отдававших справедливость его заслугам, его прямоте и благородству его характера.

Это благорасположение к нему король доказал впоследствии на деле, потому что добродетель уважается даже в неприятеле.

(Из книги: О. Тьерри, "История завоевания Англии норманнами").



ПИСЬМО ГЕНРИХА II К ПАПЕ ОБ УБИЕНИИ ФОМЫ БЕКЕТА.

«Александр, Божию милостью папе, Генрих, король английский, герцог норманский и аквитанский, граф анжуйский, привет и должное благоговение.

По уважению к церкви римской и по любви к вам, которую, Бог мне свидетель, я верно до сих пор и постоянно хранил, я пожаловал Фоме, архиепископу Кентерберийскому, сообразно вашему повелению, мир и согласился на восстановление его во всех его владениях, после чего я приказал перевезти его с почетом в Англию. Несмотря на то, он внес туда с самого своего вступления не веселие мира, а огонь и меч и поставил против меня вопрос о царстве и о короне.

Сверх того, он предал некоторых слуг моих анафеме.

Отлученные от церкви и другие англичане, не снеся его наглостных поступков, напали на него и убили его (о чем я не могу говорить без сожаления).

Я боюсь, что невольною причиною этого зло-

деяния был тот гнев, который я имел против него с давних времен.

Бог мне свидетель, что это меня сильно смущает.

Так как в этом происшествии я более опасюсь за добрую славу мою, чем за совесть, то прошу святость вашу пожаловать меня в этом отношении лекарством спасительного совета».

(Из книги: О. Тьерри, „История завоевания Англии норманнами“).

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ ПРОВАНСАЛЬ- СКОГО ТРУБАДУРА БЕРТРАНА ДЕ БОРН,

1. Плач на смерть Генриха, сына Генриха II.

Когда б вся скорбь, весь плач и сокрушенья,
Все горести, невзгоды и печаль,
Что разлиты здесь в скорбном мире,
Слились в единый стон,—то все они
Ничтожными сочлись бы пред утратой
Младого английского короля.

Отныне Честь и Младость приуныли,
Свет потемнел, мир тусклым стал и мрачным,
Нет радостей в нем,—лишь печаль и горе.

• * •

Унылы, скорбны, в полном сокрушеньи
Все ратники любезные, певцы,
Проворные жонглеры, трубадуры:
Предстал им в Смерти слишком враг
смертельный,
И отнял он у них, непобедимый,
Младого английского короля.

Пред ним скупым казался самый щедрый,
И не было, и не будет, кто б сравняться
Мог с тем, о ком скорбят в слезах и горе.

* * *

Смерть бледная, полна ты сокрушенья,
Похвастать можешь ты, что отняла
У мира лучшего из витязей,
Когда-либо бывавших на земле.
Все в мире ценное уделом было
Младого английского короля.

И было б лучше, кабы Божья воля,
Чтоб он остался, а не ~~лих~~одеи,
Что миру не на славу, а на горе.

* * *

Когда от века лжи и сокрушенья
Любовь ушла,—ликует в нем обман,
Все на ущерб идет, полно унынья,
И, ухудшаясь, меркнет день за днем...
Дивится всякий доблестям и славе
Младого английского короля,

Что лучшим был из славных в здешнем мире.
Увы, уж нет прекрасного здесь тела—
Остались нам лишь скорбь, печаль и горе.



Тому, Кто нашему вняв сокрушенью,
Снисшел с небес и с нас проклятье снял,
Кто смерть принял и нас же спас от смерти,
Ему, смиренному Владыке правды,
Мы молимся о милости великой
Младому английскому королю.
Пусть Он простит его, Он—милосердный,
Пусть приобщит к избранникам почетным,—
Где нет печали, где не будет горя.



II. Сирвента в честь войны.

Люблю весны веселой время,
Когда цветет все, зеленеет,
Мне любо пташек ликованье,
Что песней звонкой раздается
Средь зелени лесов.

Люблю я видеть на поляне
Ряды раскинутых палаток.

Мне сердце веселит,
Когда готовых вижу к бою
Коней и рыцарей в доспехах.



Люблю,—когда гонцы лихие
Людей и скот в смятеньи гонят;

Люблю, когда за ними следом
Спешат отряды боевые;

И крепнет дух во мне,
Когда осаду вижу замков,
И рухнут стены укреплений,

А войско на лугу
Обрамлено, средь рвов глубоких,
Плетней рядами и окопов.

* * *

И люб мне также вождь отважный,
Что первым к приступу несется
На боевом коне без страха.

Вселяет бодрость он примером
Всем ратникам своим;

Когда же завязалась сеча,
Пусть каждый будет наготове

Спешить вождю во след:
Ведь тот лишь славен, кто удары
Сумел принять и нанести.

* * *

Бой закипел—дробятся копы,
Мечи и панцыри цветные,
Щиты и шлемы—все в осколках.
Бойцы, схватившись, вместе гибнут;

Вот мчатся, ошалев,
Убитых кони и сраженных.

Вступивши в бой, вонтель смелый
Не помнит уж себя,
Удар наносит за ударом,—
Ведь лучше смерть, чем поражение.

* * *

Признаюсь вам, меня не тешат—
Еда, питье, ни сладкий сон,
Как тот призыв—«вперед, на сечу!»
Несутся с двух сторон бойцы,—
Чу, ржание коней,—
И крики слышны—«Помогите!»
Велик и малый, все валятся,
Кто в ров, кто на траву,—
И в груди мертвых, вижу, клочья
Торчат знамен, обломки копий...
Бароны, заложите замки,
Деревни, села и поместья,
Чтоб можно было воевать.

Ты ж, Паниоль, ступай к Ричарду,
Скажи ему, что полно мешкать,
Что жить нам в мире надоело.

Перевод Ф. Б а т ю ш к о в а.



БИБЛИОГРАФИЯ.

К. Ф. Мейер.

Быт и нравы норманнов затронуты, между прочим, в следующих произведениях:

- Исаия Тегнер. Сага о Фритиофе.
Эленшлегер. Яра Гакон.
Ибсен. Богатырский курган.
Воители в Гельгеланде.
Сигрид Ундсет. Викинг.
Гюи ле-Руа. Норманны в Византии.
Гейне. Гастингская битва. Баллада.
Кингслей. Ипатия.
Вальтер Скотт. Айвенго.

* * *

О норманнах в России говорится в романе Загоскина „Аскольдова могила“

Сочинения о норманнах

Стренгольм. Поездки викингов. М. 1861.

О. Тьерри. История завоевания Англии норманнами.
П. 1868.

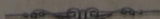
Фон-Шацк. Норманны в Сицилии. П. 1906.

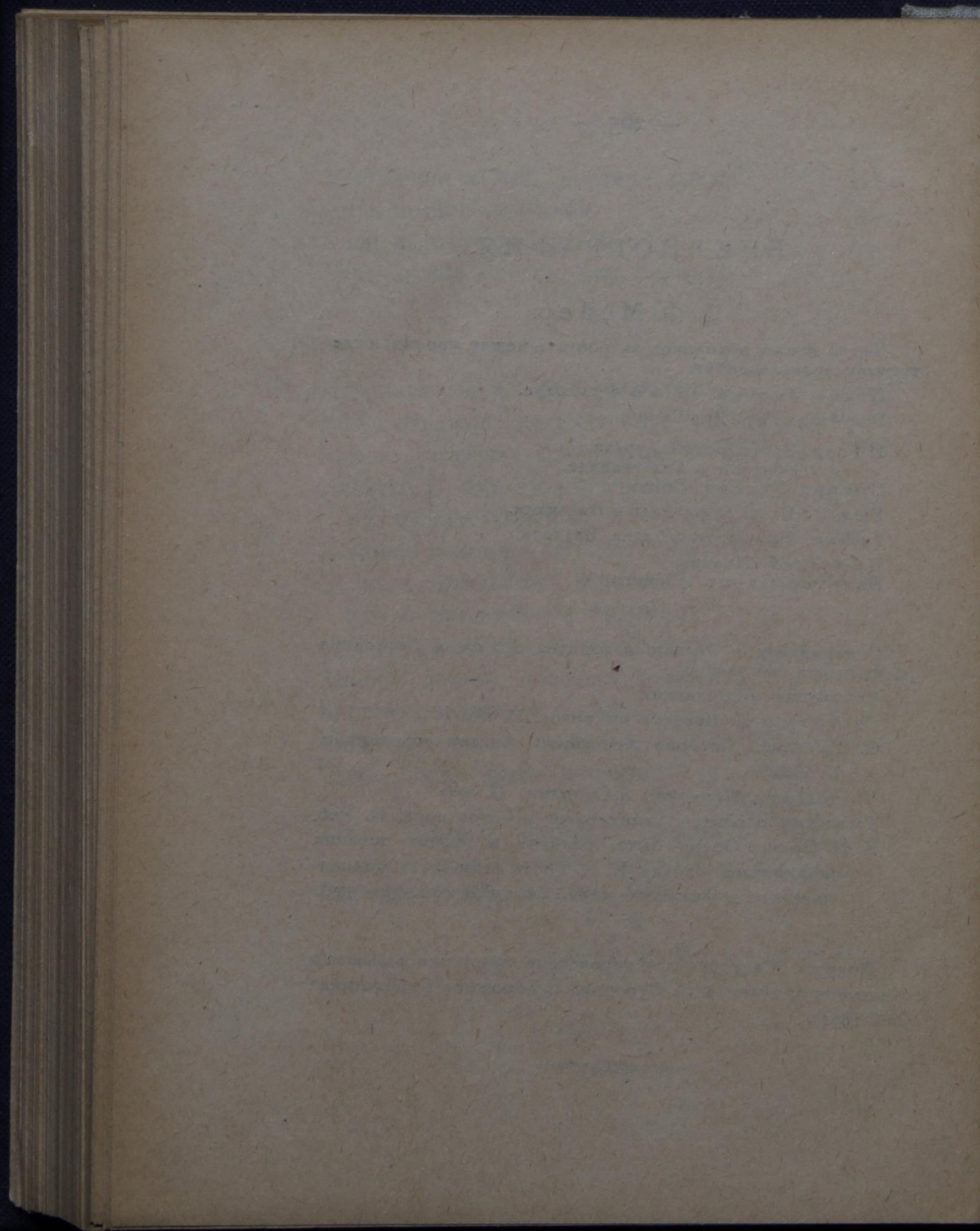
Тиаандер. Поездки скандинавов в Белое море. П. 1906.

Я. К. Грот. Очерк быта, религии и поэзии древних скандинавов (Труды Я. К. Грота, том I: Из скандинавского и финского мира. СПб. 1898, стр. 732—753).

* * *

Повесть „Святой“ была переведена по-русски и вышла в отдельном издании А. С. Суворина („Дорожная Библиотека“ СПб. 1891).

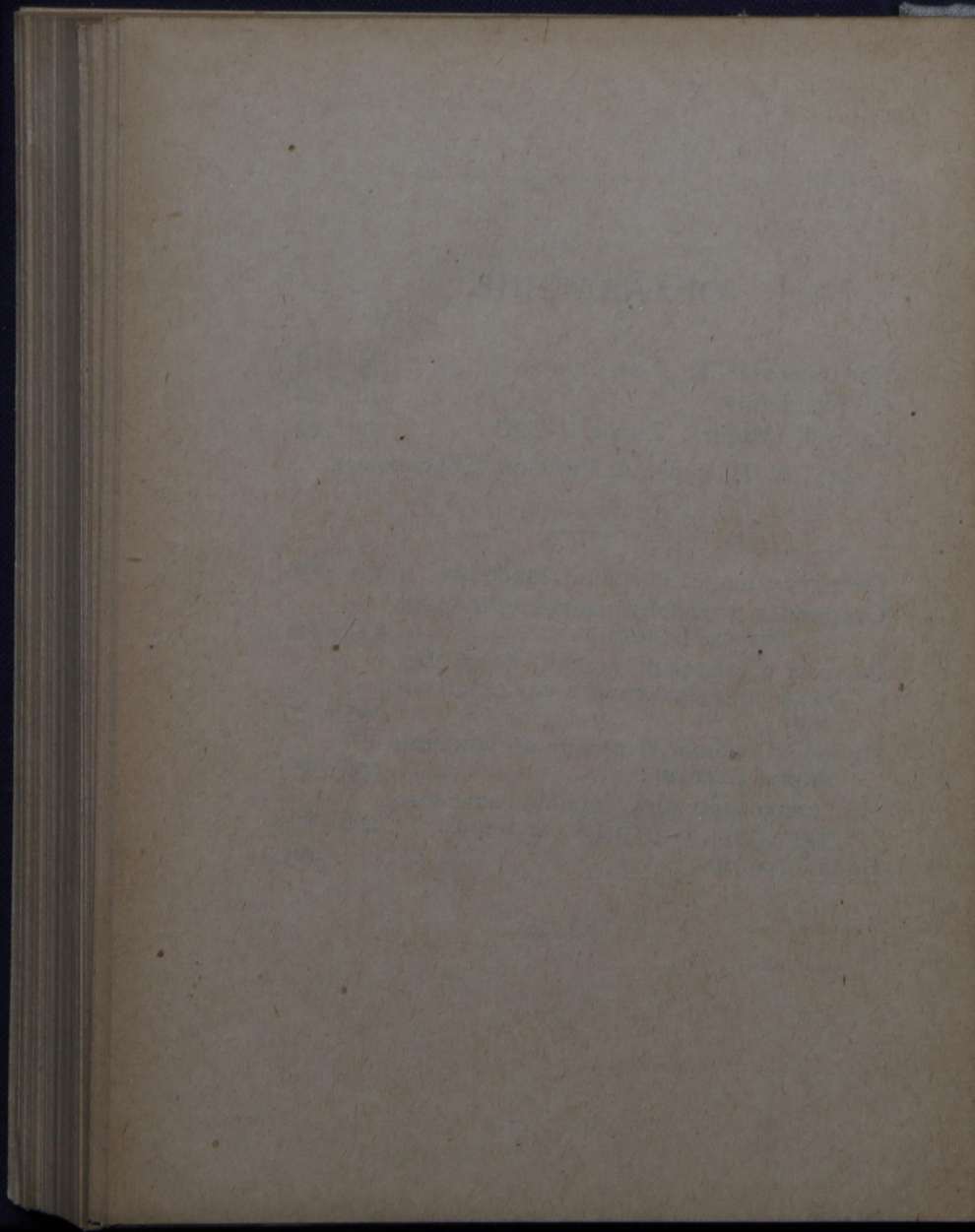




ОГЛАВЛЕНИЕ.

Предисловие М. Горького.	5— 18
От редакции	18— 22
Святой, повесть. Главы I—XIII	23—234
Пер. А. Н. и Ю. Л. Римских-Корсаковых.	

Смертная песнь Рагнара Лодброка . .	237—238
Старинная баллада о пленении и браке Гильберта Бекета.	239—244
Рассказ о светской жизни Фомы Бе- кета до возведения в сан епископ- ский	245—257
Письмо Генриха II к папе об убиении Фомы Бекета	258—259
Из стихотворений провансальского трубадура Бертрана де Борн	260—264
Библиография.	265



ПЕЧАТАЮТСЯ и ГОТОВЯТСЯ к ПЕЧАТИ:

К. Лемонье. „Завод“, роман.

Уот Уитмэн. „Листья травы“.

Г. Гейне. Т. VI. „Путевые картины“, ч. II.

И. Гердер. „Сид“.

Т. Гофман. „Музыкальные новеллы“.

Ляо-Чжай. „Лисьи Чары“.

Гёте. „Фауст“.

Гольдони. Комедии.

В. Скотт. „Черный карлик“.

Уэллс. „Невидимка“.

Иенсен. „Ледник“.

Саути. Английские народные баллады.

К. Мейер. Рассказы.

Дж. Лондон. „Любовь к жизни“.

Гете. „Вертер“.

Миллер. „Вильгельм Телль“.

Гюго. „93-й год“.

Издательство „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

Байрон. „Беппо“.

— „Бронзовый век“.

— „Дон-Жуан“.

— „Каин“.

— „Манфред“.

— „Сарданапал“.

Новалис. „Генрих фон Офтердинген“.

Верхарн. Избранные стихи.

А. Франс. Рассказы.

Диккенс. „Рождественские колокола“.

Б. Шоу. Пьесы.

Золя. „Труд“.

— „Вертеп“

В целях ознакомления русского читателя с наиболее выдающимися произведениями иностранной литературы за последние годы—Издательство „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“ приступает к выпуску серии

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Вышли из печати в этой серии:

Ж. Ромэн. „Доного —Тонка“ кинематографический роман.

В ближайшее время выйдут:

Э. Синклер. „100% или история одного патриота“.

П. Бенуа. „Атлантида“, роман.

Б. Гамсун. „Силы Земли“, роман.

Б. Михаэлис. „Месть графа Сильвена“ пов.

Г. Дж. Уэллс. „Неугасимый огонь“, роман.

Р. Роллан. „Коля Беньон“, роман.

В. Гетц. „Царство вне пространства“, фантастический роман.

О. Генри. Избранные рассказы.

С. Бржозовский. „Зарево“, роман из эпохи народовольцев.

Г. Верфель. „Виновен убитый“, новеллы.

Б. Мейринг. „Зеленое лицо“, роман.

Д'Аннунцио. „Ноктюрн“, роман.

Издательство „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

В непродолжительном времени выйдет № 1 издаваемого „Всемирной Литературой“ иллюстрированного журнала „ВОСТОК“, под ред. акад. С. Ф. Ольденбурга, акад. И. Ю. Крачковского, проф. В. М. Алексеева, проф. В. Я. Владимирцова и А. Н. Тихонова.

В журнале—художественно-литературный, научный и критико-библиографический отделы, а также хроника жизни Востока и художественные репродукции с памятников восточного искусства.

Готовится к печати № 1 издаваемого „Всемирной Литературой“ журнала „СОВРЕМЕННЫЙ ЗАПАД“, под ред. К. И. Чуковского, Евг. Замятина и А. Н. Тихонова.

В журнале—переводы стихов и художественной прозы наиболее выдающихся из современных европейских писателей, обзор художественной жизни Европы, отчеты о новейших достижениях западной науки.

В первом номере журнала, между прочим, будут напечатаны: Шпенглер— „Пруссизм и социализм“, роман О. Генри „Короли и капуста“, рассказы Дюамеля, статья Н. Радлова о современном немецком и французском искусстве и пр.

